

Виктор Бычков

Жернова

исторический роман



Виктор Бычков

Жернова

«Издательские решения»

Бычков В.

Жернова / В. Бычков — «Издательские решения»,

События в романе разворачиваются в Смоленской губернии и Алтае, охватывают период с 1904 по 1930 годы. Судьбы крестьянина, столбового дворянина, бывшего офицера переплелись с судьбой страны на изломе исторических событий.

© Бычков В.

© Издательские решения

Содержание

Часть первая	6
Глава первая	6
Глава вторая	25
Глава третья	35
Глава четвёртая	51
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Жернова
исторический роман
Виктор Бычков

Посвящаю родному брату моему, – добрейшей, светлой души человеку ВЛАДИМИРУ АНАТОЛЬЕВИЧУ БЫЧКОВУ, – с любовью, уважением и глубокой признательностью...

© Виктор Бычков, 2016

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Часть первая

Глава первая

Мужчина затаился, вжался в землю, замер. На меже в кустах полыни было душно, пахло горечью, звенел комар, пот застил глаза. Однако человек не шевелился, боясь малейшим движением выдать себя. Домотканая рубашка прилипла к телу, босые ноги, облепленные муравьями, зудели.

Он лежит здесь давно, почти с полудня. А сейчас солнце пошло к вечеру, слава Богу, уже не так жарит. Сильно хочется пить, но ещё сильнее желание всё выследить, разузнать.

Барские овины, выстроенные в два ряда, серели под солнцем выгоревшими соломенными крышами.

У первого овина группа мужиков складывала снопы ржи в большие суслоны рядом с током. Женщины тут же хватали снопы, разносили их на утрамбованную глиняную площадку, готовили к молотье. Четверо мужиков держали в руках цепи, проверяли, часто замахивались из-за спины, принаравливались молотить, привыкали к цепам. Сейчас, когда жара спадала, самое время поработать дотемна.

Работник в изодранной соломенной шляпе правил парой волов, поддерживая рукой высокий воз снопов.

– Цоб цобэ! – долетало до межи.

Почти в центре гумна сам хозяин крутился вокруг паровой машины. Нанятый из города специалист готовился запустить триер, раз за разом приседал перед машиной, вытирал пот с лица большим, тёмным платком, что-то подтягивал, стучал по железкам молотком с длинной рукояткой.

Со стороны поля донеслось дребезжание колёс: гнедая лошадка шла в бричке размашистой рысью. Шлейф лёгкой полевой пыли искрился следом в лучах заходящего солнца.

Завидев бричку, незнакомец заволновался вдруг, напряжённо вглядываясь вдаль, стараясь разглядеть пассажира.

Вот, наконец, лошадка остановилась, поминутно отфыркиваясь, водила боками.

Внимание мужчины на меже привлёк появившийся молодой человек, который соскочил с брички, прихрамывая, направился к барину. Не дойдя до машины, снял картуз, прижал к груди. В тот же момент походка его изменилась: мало того, что шёл он, припадая на правую ногу, так ещё умудрялся подобострастно кланяться на ходу издали, хотя хозяин его ещё и не видел.

– Он! Точно он! – облегчённо прошептал мужчина, и злая усмешка застыла на распаренном под солнцем лице. – Мне бы ещё голос его услышать... значит... и сапоги... сапоги. Точно он!

Заметив хромого гостя, барин отвлёкся от триера, даже сделал несколько шагов навстречу. Сейчас они стояли друг против друга, разговаривали. Как ни напрягал слух, как ни прислушивался, человек не мог уловить ни единого звука здесь, на меже.

Однако, разговаривая, хозяин и хромой потихоньку уходили за овин, остановились за углом, недалеко от места, где замер, затаив дыхание, незнакомец.

– Не извольте сомневаться, барин Алексей Христофорович, – долетел до межи с лёгкой хрипотцой голос приехавшего. – Не извольте, не думайте плохо, – согнутая спина и склонённая в глубоком поклоне голова ещё больше подтверждали и усиливали искреннее подобострастие хромого посетителя. – Всё сделали, как вы и наказывали, – гость лишь на мгновение распрямился и тут же снова принял услужливое положение.

«Он! Точно он!», – в который раз мысленно произнёс человек на меже, ещё сильнее уверовав в своих предположениях. Этот, именно этот голос слышал он совсем недавно.

– Ну-у, смотри, Петря! – палец хозяина сначала замаячил перед носом хромого, потом уткнулся в грудь гостя. – Ни дай тебе боже хоть кто-то узнает о нашем разговоре, о нашем деле – тебе не сдобровать. Сгниёшь в остроге ни за понюшку табаку. Ты меня понял? Я слов на ветер не бросаю, – назидательно закончил Прибыльский.

– Не извольте сомневаться, барин Алексей Христофорович, – хромой истово перекрестился. – Могила! Вы же меня знаете.

– Не знал бы, – вроде как смягчил тон хозяин, – не разговаривал бы с тобой. Так говоришь, до основания порушили? Не восстановят?

– Как есть – до основания! До последнего брёвнышка раскатали. А что не смогли – подожгли. Сгорело за милую душу. Легче новую мельницу построить, чем восстанавливать старую.

– Не такая уж она и старая, – произнёс Прибыльский. – Новая. Только-только наладили. Так что...

– Нам какая разница? – пожал плечами Петря. – Вы нам деньги – мы вам... пусть теперь у других голова болит.

– А подельники твои как, не сболтнут лишнего во хмелю у монопольки?

– Не извольте сомневаться, барин Алексей Христофорович, – снова согнулся в поклоне хромой. – У меня разговор один: был человек – и не стало. Сгинул, и ни слуху, ни духу. Хлопцы хорошо это знают, потому и рот на замке держать будут.

– Самоуверен ты, однако. Искать не будут подельников твоих в случае чего? Ну, там родственники или ещё кто?

– Кого искать? – хохотнул гость. – Да они без роду, без племени. Кто ж их искать станет? Кому они нужны? Мы – люди вольные.

– Ну-ну, – барин смерил собеседника оценивающим взглядом, снисходительно похлопал по плечу. – Ну-у, молодца. А по виду и не скажешь. Хотя... ладно, ты меня и так уже отвлек от дел. Давай, Петря, езжай. Ступай с Богом, – хозяин повернулся, собрался, было, уходить.

Приезжий развёл руками, произнёс в недоумении:

– Как езжай? А денежки? Вы же обещали после того, как раскатаем, дело сделаем, отдать основную сумму.

– Я? Обещал? Ты же получил авансом.

– Аванс он и есть аванс. Это только часть обещанного. Был договор...

– Мало, что ли? Какой договор? Кого и с кем? – барин снова обернулся к хромому, заговорил зло, напористо:

– Договор может быть только между людьми, равными по статусу, по положению в обществе. Разве мы равны? Ты с кем разговариваешь? Пред тобой статский советник, отставной штабс-капитан двадцать первого Белорусского драгунского Его Императорского Высочества великого князя Михаила Николаевича полка господин Прибыльский! А кто ты такой мне требования предъявлять? Разбойник с большой дороги?! Тать?! С кем договор заключать?

Барин вдруг схватил собеседника за грудь, с силой притянул к себе.

– Запомни, смерд! Только за то, что я разговариваю с тобой, ты должен быть благодарен мне всю оставшуюся жизнь. Понял? – на этот раз резко оттолкнул от себя Петрю.

Тот засеменил, пятясь, но не смог удержаться на больных ногах, упал на спину, подняв маленькое облачко пыли. Картуз слетел с головы, откатился к овину, обнажив короткую, аккуратную стрижку.

– Тьфу! – Алексей Христофорович презрительно плюнул на лежащего гостя, достал носовой платок, вытер испарину с лица. – Чтобы через минуту и духу твоего здесь не было!

– Постой, барин, – хромой с завидным проворством вскочил на ноги, мгновенно преобразившись, направился к барину. – Погоди, господин штабс-капитан, – и в тоне, и в словах,

даже в самой походке уже не было того подобострастия, что наблюдал мужчина на меже мгновение назад. – Ты чего ж сбегаешь, подлая душонка? И кто ж тебя, тварь неблагодарная, наделил полномочиями поднимать руку на гостя, хамло невоспитанное? В каких кадетских корпусах учат этому? В какой церкви тебя крестили? И крестили ли? Может, дьявол приложился к твоему облику вместо святого креста?

К Прибыльскому направлялся совершенно иной человек: уверенный в себе, гордый, сильный. Правда, хромал, и оттого походка казалась всё такой же прыгающей, скачущей, но уже уверенной, твёрдой, насколько могла позволить больная нога.

От такого необычного перевоплощения гостя, непривычного грубого обращения к себе Прибыльский опешил.

Он остановился, резко двинулся навстречу хромоту.

– Что-о, что ты сказа-а-ал, хам? – лицо хозяина побледнело, голос вибрировал от негодования, ноздри хищно раздулись.

– А что слышал, господин штабс-капитан! – хромой выправил осанку, гордо поднял голову, и оттого для наблюдавшего из межи мужчины стал ещё выше, стройнее.

– Пред тобой, штабная крыса, вонючий барчук, стоит и соизволит великодушно разговаривать столбовой дворянин в пятом поколении, боевой офицер, отставной командир пулемётной роты первого пехотного полка семнадцатой Сибирской стрелковой дивизии капитан...

Фамилию лежащий на меже человек не расслышал.

Замешательство барина длилось недолго.

– Да какой ты дворянин? Какой капитан? Ты – тать! Ты – вор и разбойник! Хам!

– Деньги! Я сказал: деньги! – приезжий был непреклонен. – Давши слово – держать обязан! Или драгунским штабс-капитанам законы офицерской чести не писаны?

– А вот это ты не желаешь, чернь? – к носу гостя Прибыльский сунул кукиш. – Он ещё будет мне об офицерской чести языком трепа...

Но договорить не успел.

От сильно удара снизу в лицо, барин, сверкнув подошвами сапог, отлетел к овину, ударившись спиной о стенку.

Гость плюнул в сторону поверженного хозяина, и только потом, хромая, направился к бричке, гордо неся голову.

– Ну-у и дела-а-а! – человек на меже не переставал удивляться.

– У тебя, господин штабс-капитан, неприятности только начинаются, – обернулся к хозяину Петря из полдороги. – И, прошу заметить, я открыт для сотрудничества. Но алчных, непорядочных людей презираю. А ты, барин, в высшей степени скотина! Животное! Стыдно руку подать. Да-с, милейший! Стыдно-с! Ответ мой будет жестокий, ты знай и дрожи, мразь! Отныне, сволочь, будешь передвигаться по земле ползком. В лучшем случае – на полусогнутых ногах, от укрытия к укрытию, от куста к кусту, поминутно оглядываясь. Дрожи, ничтожество!

Лошадка с места взяла рысью, и ещё через минуту стихло дребезжание телеги.

Прибыльский остался сидеть, прислонившись к стенке овина, то и дело прикладывая к разбитому носу изрядно окровавленный платок. Работники наблюдали со стороны момент драки, и теперь не подходили, обегали стороной побитого барина, стеснялись приблизиться, тайком шушукаясь и ехидно ухмыляясь.

Человек ужом скользнул в борозду, что разделяет межу и пшеничное поле, начал смеяться в сторону темнеющего вдали леса. Вот, наконец, он достиг опушки и сразу же направился к небольшому родничку в зарослях березняка, опустил на колени, припал к источнику. Утолив жажду, ополоснул лицо, шею, грудь, выбрал место в густом ельнике, руками подгрёб под себя опавшую хвою, свернулся калачиком, уснул.

Ночь в лесу наступает чуть-чуть раньше, чем на открытых участках местности. Ещё хорошо слышны были удары цепов на току, а здесь, в ельнике, было сплошная тьма. Но человек

очень хорошо ориентировался в лесу. Вот он сладко потянулся, немножко поёжился от лесной сырости, и уверенно направился куда-то вглубь леса. Нигде не треснула под ногами ветка, не вскрикнула испуганно на пути сонная лесная птица: человек передвигался бесшумно, уверенно выбирая маршрут по одному ему известным ориентирам.

Встав на цыпочки у густой ели, мужчина снял с сука холщовую торбу, перекинул через плечо. Ещё прошёл немного, вышел на небольшую полянку. Не раздумывая, уверенно направился к вывороченному из земли пню старой берёзы на другом краю поляны, нагнулся, достал небольшую металлическую баночку с угольками, присыпанные сверху трухой, раздул. Убедился, что угольки тлеют, одобрительно хмыкнул. Это был первый звук, который издал человек в лесу.

Когда он подходил к барским овинам, там уже было не только тихо, но и темно. Солнце давно село, а луна ещё не успела занять своё место на небосводе. И опять человек передвигался очень уверенно, бесшумно, мягко ступая босыми ногами по заросшей травой меже.

Постоял на открытом участке местности, покрутил головой, стараясь уловить дуновение летнего ветерка, почувствовать его направление. Уловил. Ветер дул со стороны барской усадьбы в направлении пшеничного поля.

Мужчина ступил на сжатое накануне ржаное поле, пошёл в обход овинам, чтобы снова приблизиться к ним уже с наветренной стороны. Ноги не ставил на стерню, как обычный пешеход, а словно сунул их, чуть-чуть приподнимая над землёй, приминая жёсткие остатки ржаных стеблей, и потому они не кололи ступни.

До овинов оставалось совсем ничего, десяток-другой сажений, когда человек услышал лай собак, которые находились на току вместе со сторожем. Но это не испугало его. Он лишь присел, стараясь в темноте разглядеть несущихся к нему псов. Засунув в торбу руку, ждал.

Собаки учуяли посторонних, задыхались злобой. Человек выждал, чтобы стая приблизилась как можно ближе, рывком достал из торбы зайца, встряхнул, бросил его от себя чуть в сторону. Зверёк, очутившись на воле, сначала подпрыгнул, будто убеждаясь в свободе, и тут же пустился к лесу. Почуяв дичь, собаки огласили окрестности лаем, бросились в погоню за русаком.

Мужчина стремительно приблизился к овину, сыпанул часть угольков под угол строения, притрусив сверху клочками пакли, встал на колени, дунул. Убедился, что пакля взялась огоньком, быстро и аккуратно выложил остальные угольки на крышу овина, предварительно распотрошив солому на ней.

Когда он уходил вдоль пшеничного поля в сторону леса, ничего не предвещало беды. Темнота ещё больше, ещё плотнее окутывала землю. Где-то на другом краю деревни играла гармошка, девичьи голоса выводили песню. В слаженный женский хор встраивалось мужское многоголосье, придав песне новое, яркое звучание.

Незнакомец не торопился. Достигнув леса, постоял немного на опушке, прижавшись к берёзе, с волнением смотрел на темнеющие в ночи хозяйственные постройки пана Прибыльского, терпеливо ждал.

Тихо, темно, ни огонька, лишь песни в ночи.

Уже, было, появлялось сомнение, как вдруг разом вспыхнула огромным языком пламя сухая солома на крыше ближнего к имению строения. Взявшийся из ниоткуда ветер раздул его в считанные мгновения. И тут же с азартом принялся разносить огненные искры в темень ночи. Сразу же полыхнула крыша на другом овине, озарив ночное небо страшным светом. И, словно отражаясь в золоте стеблей, мелькнул первый огненный сполох на пшеничном поле, чтобы тут же разгореться ярким пламенем, побежать верхом, мгновенно воспламеняя ость на колоске и уже этим огнём пожирая сами колосья, а потом и стебли.

Человек убежал от взявшихся огнём овинов опушкой леса. Он уже спешил, однако бежал не изо всех сил, а очень и очень расчетливо. Иногда переходил на ускоренный шаг, но двигался

ровно так, как считал нужным и достаточным для его положения. И маршрут выбирал безлюдный. Встреча с людьми не входила в его планы.

Волостное село Никодимово обогнул стороной, краем болота. Через речушку Волчиху переправился уже вблизи деревни Горевки, там же искупался, ополоснул уставшее тело.

Холщовую рубаху и домотканые штаны скрутил, сунул в нору под высоким берегом речки. Из-под ивы, что зависла над рекой на той стороне, достал другой свёрток с одеждой, переделся в чистое, натянул сапоги.

Посиделки деревенских парней и девчат были в самом разгаре, когда до них долетел из Никодимовской церкви набат: пожар! Стихла гармошка, остановились посреди вытоптанной сотнями ног площадки пары. Из домов повыскакивали сонные жители. Все с тревогой смотрели, как взялся ярким пламенем тот, дальний край села Никодимово.

– Что горит?

– Кажись, конюшни барина...

– Не-е, моёт быть монополька. Она как раз с той стороны...

– И след, и след ей сгореть, окаянной! – женские голоса словно рады были пожару в монопольке, настолько слажено и дружно с нотками одобрения прозвучали в ночи. – Неужто Господь услышал наши молитвы?

– Типун вам на язык! – прохрипел чей-то скрипучий голос из толпы. – Волос это... а ума... Быстрее Волчиха огнём возьмётся, чем монополька запылает.

Последние слова говорившего заглушил громкий хохот толпы.

– Ох, и скажет Ванька! Такому палец в рот не клади: отошьёт, как отбреет. Не язык, а бритва.

– Пашеничка взялась огнём. Точно, пшеница. Они ещё не приступали убирать её. Вот и... а она почти созрела, стебель сухой стоит. Такому только искру дай – вспыхнет за милую душу. Да и ость что порох.

– Правда твоя: рожь озимую барин убрал, сегодня как раз работники снопы жита свозили на ток, молотить начали, а пшеницы ещё время не пришло.

– А может и имение самого Прибыльского?

– Кто знает, кто знает, но овины горят – это точно.

Из-за спин со стороны деревни раздался звон колоколов: страшно матерясь, понужая животину, пролетела пожарная телега, запряжённая парой коней, с бочкой воды и ручным насосом-помпой. Огнеборцы Горевки направились на помощь в Никодимово.

– Может, айда с ними? – молодой, высокий мужчина протиснулся сквозь толпу вслед проехавшей пожарной телеге, жестом увлекая за собой товарищей.

– Оно бы и можно было, да завтрева вставать рано, и вообще... – ответил юношеский ломкий голос из темноты, зевая. – Если Прибыльский горит, то так ему и надо.

– Ты в своём уме? – зашикали на него из толпы. – Пожар – это ж... это ж... дурак ты, Никита, как есть – ду-у-рак! Шишнадцать годочков стукнуло, а ума так и не нажил. Э-э-эх! Тьфу! Пустельга!

– Так что? Побежали? – снова заговорил тот самый парень, что и предложил первым бежать в Никодимово.

– Беги, Тит, беги. Без тебя там не управятся, это точно. А Ванька Бугай опять Аннушку Аникееву щупать за титьки станет, – ровесник и друг Тита Прошка Зеленухин плотоядно хихикнул.

Кочетом налетел Тит на говорившего, сбил с ног, и, уже сидя на противнике сверху, продолжал молотить кулаками.

– Я тебе дам и Анку, и Ваньку Бугая, чёрт косорылый.

На помощь Прохору кинулись парни с дальнего края деревни. За Тита встал стеной на защиту этот край Горевки. Началась драка, не лучше и не хуже других, что всегда возникали на таких мероприятиях среди молодёжи. Был бы повод. А он уже был.

В ход, помимо кулаков, пошли и колья. Девчата с визгом разбежались, освобождая место для драки. Мужская половина сельчан, которые постарше, пока участия не принимала, смотрела со стороны, нервно курила, пританцовывая, подёргивалась от нетерпения, почёсывала кулаки, ждала своей очереди. Однако советы дерущимся уже давала, зорко следя, чтобы драка шла строго по неписаным деревенским законам.

- Круши!
- В сусалы!
- В гроба душу...
- Два на одного – не по правилам!
- С колом на кулак не моги ходить!
- С колом только на кол ходи!
- Брось кол, кому говорят!
- Не видишь, он проть тебя с голимым кулаком, а ты, байстрюк, в помощники кол взял?!
- Дерись, дерись, да ум не теряй, тюха недоношенная!
- Под дых! Под дых его, Тит!
- В рыло! В рыло ему цель, Прощка!
- Наша берёт!
- Кишка тонка!
- Гирьку, гирьку спрячь, чалдон!
- Себе по дурной башке гирькой-то...
- В кулаке силы нет, так ты гирькой?!
- Не моги! Не то всей деревней...
- Наших бьют! А-а-а-а!
- Бей в рожу! В рожу его!
- Коленкой его, коленкой о дурную башку!
- Пovyдерну ходунки-то...
- А ты куда? Малой ещё! Молоко это...
- Так братку бьют...
- Ну-у, тада с Богом!

К тому моменту, когда луна поднялась из-за леса, над Никодимовым зарево пожара полыхало в разы ярче и зловеще, добрасывая свои отсветы и до соседней деревни. Колокола на сельской церкви гудели набатом, не переставая, жутко будоража округу.

В Горевке драка тоже была в самом разгаре: семейные мужики сошлись-таки, не сдержали их бабы и родственники.

- Уби-и-или-и-и! Ряту-у-уйте-е!

К месту драки сбежались все жители Горевки: и стар, и млад. Детишки, жёны, сёстры, бабки и деды повисли на руках мужей-братьев-сыновей и внуков. Постепенно, но накал в драке стал спадать, оставались ещё одиночные очаги, пока не иссяк окончательно. К полуночи драка прекратилась полностью. Семьями и поодиночке направились кто к колодцам, а кто и на берег Волчихи смывать с себя кровь и сопли, зализывать раны.

И пожар в Никодимово пошёл на спад. Не было того страшного, зловещего зарева, лишь вспыхнет где-то язык пламени, вырвется на простор, тут же погаснет, исчезнет. И колокола на сельской церкви замолчали, уставшие и оглохшие.

По домам не расходились, ждали огнеборцев: расскажут, что и как. Интересно. Снова стояли всей деревней, смешавшись в толпе и правые, и виноватые. Мирно беседовали, курили, строили догадки, будто час назад и не сходились друг с дружкой в кровавой драке.

– Ты зачем такие слова мне сказал за Анку и Ваньку Бугая? – Тит наклонился к Прошке, зашептал на ухо. – Узрел что? Сам видел? Иль сбрехал кто?

– А ты пошто мне под глаз так съездил? – обиженно прошлёпал разбитыми губами Прохор. – Теперь око не видит, дурак. И губы почём зря разбил. Завтра один работать будешь.

Парень пальцами раздвигал опухоль на глазу, пытался смотреть, крутил головой, зло и недовольно сопел.

– Ну-у, в темноте где там увидишь-то? – вроде как оправдывался Тит. – Ты бы светлячков на глаза навесил – я бы и заметил. А так... но и ты думай, что говоришь.

– А я чё? Я – ни чё, – Прошка взял Тита под руки, увлёл в сторону из толпы. – Правду сказал: вчера, как ты убёг на свою мельницу, Ванька приставал к Анке, пытался за титьки лапачь. Сам видел. Она, правда, верещала, отбивалась. Но так кто же из девок не верещит, когда их парни лапают прилюдно?

– А потом что? – жарко задышал Тит.

– Что-что? Убёгла Анка. Ванька в дураках остался.

– Фу-у-у, – облегчённо вздохнул Тит. – А то я уж думал, что она ему на шею вешалась.

– Не-е, чего не было, того не было. Врать не стану.

Пожарная телега въезжала на деревенскую улицу. Лошади шли шагом, уставшие. Сами огнеборцы брели позади телеги. Толпа людей кинулась им навстречу.

Десятки кисетов услужливо протянулись к пожарным. Старший – Матвей Макарович Лизунов – первым делом отыскал среди встречающих мальчишку пошустрее, выдернул его из толпы, велел сначала съездить на отмель, залить бочку водой.

– Возьми помощников, паря, да лошадок не гоните: устали они. Трижды бочку водой заполняли на пожаре, гоняли животину почём зря туда-сюда. Понимать надо. Так что, на конюшню гоните. Овсеца там не жалеите. Телегу у каланчи оставите. Да смотрите, чтобы всё исполнили как надо. Сам проверю, шкуру спущу, если что. Ведро там, на дышле висит. Не потеряйте, огольцы. Казённое оно, ведро-то, общественное. И сбрую, сбрую-то на место положите, охламоны, прости, Господи. Да на Пёсий брод правьте, там дно песчаное, крепкое, и подъём на берег пологий, итить вас в коромысло. Лошадкам какое-никакое послабление, понимать надо, – прокричал уже вдогонку мальчишкам, которые тут же с превеликой охотой ретиво бросились исполнять веление главного пожарного в деревне.

– И не вздумайте коней в ночное гнать: в стойло, в стойло, чтоб под рукой это... и сенца поболе. А можно и травы. Не поленитесь, нарвите за каланчой. Да, инструмент пожарный ни-ни! Инструмент – это... святое, вот как. Так что, не касайтесь, итить в матку с батькой. Уши пооткручиваю, если что! – строжился Лизунов.

Со слов пожарных, события разворачивались следующим образом...

Первым взялся огнём овин, что с краю со стороны имения барина. Вспыхнул разом: и снизу, и сверху. Вроде, как и ветерок с вечера был еле-еле, свечку не затушит, а тут вдруг поднялся, как с кола сорвавшись. Пламя раздул в один момент, перекинул искры на другие овины, а уж с них и пшеничка взялась огнём. Мало того, во время пожара будто кто управлял ветром, настолько крутило, задувало изо всех сторон. Казалось, вот он дует на пшеничное поле, и в тот же момент, смотришь, а уже понесло пламя в обратную сторону на барскую усадьбу.

– Быдто чёрт вселился в ветер, иль оседлал его, прости, Господи, да понукает, нечистая сила, – Матвей Макарович смачно сплюнул, перекрестился. – Не к ночи будет сказано. Ошалел, прямо. Только-только приноровишься, поливаешь, а он как-а-ак жахнет на тебя! Ладно, на тебя... на животину, вот беда. Та спастись, а ты её назад, к огню поближе. И сами тоже. Куда деваться: служба! И кони, и мы обществу обязаны служить, понимать надо.

– За грехи, за грехи так на Прибыльских, – прошамкал старушечий голос. – Сам Господь наказывает проходимца. Неча было Бога гневить, антихристу, прости, Господи.

– Цыть, бабка! – зашикали на старуху из толпы. – Дай послушать.

Сгорели почти все овины, два амбара отстоять смогли, а один, где хранились овёс и ячмень урожая этого года, не получилось спасти – сгорел дотла. Пшеницу бабы да девки тоже отстояли. Половину. Забросали землёй пламя, сбили, не дали пойти по всему полю. Новый триер с паровой машиной вроде как уцелели. Мужики успели откатить в сторону. Вся рожь, что в снопах лежала на току, вспыхнула, подойти боязно было, так жарко горел хлебушко. Как на грех, из риги за два дня до пожара вывезли все снопы ржи, подготовили к молотье. Не стали там молотить. А надо было. Так, вишь, на свежем воздухе на току захотелось. Мол, там ловчее, сподручней, и весь световой день молотить можно, и мужикам да молодыцам не так муторно в пыли и духоте находиться. На свежий воздух потянуло. Думали, управиться к Рождеству Богородицы иль, на крайний случай, на Воздвиженье Креста Господня освободить ток под обмолот пшеницы нового урожая. А рига-то целой осталась, вот как.

Барин бегал среди горящих строений в одном исподнем, блажил:

– Озолочу! Деньгами осыплю! Водки и пива немеряно выкачу! А того, кто поджёт, из-под земли достану, живым в землю зарую! На кол посажу! На каторге сгною!

Коней из конюшни выгнали в ночное ещё до пожара, спаслись кони. Сами конюшни взялись огнём, но одну отбили люди. Уцелела та, где молодняк, необъезженные жеребята стояли. И имение отбили, хотя пристройка, где жила прислуга, всё же сгорела. А она стояла на задворках, почти рядом с барским домом. До сеновала пламя не достало: далеко. Хорошо, сложили сено умно: вдали от строений, вот и уцелело. Так бы и овины дальше друг от дружки строить надо было. Так, вишь, хотелось, чтоб в одном месте. Мол, ловчее...

– Ну и кто это сделал, не слыхать? – поинтересовался кто-то из молодежи. – Что говорят никодимовские? Поле ворует – лес видит. Неужто никто и ничего не видал, не слышал?

– Господь наказал, – снова прошамкал всё тот же старушечий голос. – Бога забывать стал, антихрист. Заутреннюю пропускать начал. Ленъ лба лишний раз осенить, безбожник. И жёнка евойная прислугу забирает почём здря, а ты говоришь.

– Помолчи, бабка. Ты ж там не была и заутреню в церкви с Прибыльским рядом не стояла. Дай сведущих людей послушать.

– И ты такой же нехристь, – не сдавалась старуха. – А жёнка евойная – сволочь ещё та! Похлеще самого барина будет, шалава!

– Поджог был, – уверенно произнёс один из пожарных – Самохин Василий, молодой, крепкий мужик. – Грамотно кой-то петуха пустил барину. Из двух мест взялось, надёжно. Лучше не придумать.

– Сказывают люди, что к вечеру заезжал до барина Петря на бричке. Ссора меж них прошла. Из-за чего? Не ведомо. Однако дрались барин с Петрей. Сначала Прибыльский гостю в харю съездил, тот к верх ногам сучил. А потом хозяину по сусалам хорошо попало, кровёй умылся. Сидел после под овином, крутил башкой, в себя приходил, сопли на кулак наматывал.

– Да-а, вот теперь и думай, – рассудил чей-то мужской голос. – А барину вон какой убыток, если что. Не дай Господи такого урона.

– Оклемается, – заметил кто-то из толпы. – Это нам с тобой убыток был бы, а Прибыльскому – так, мелочи.

– Так оно, так. Петря – энтот может, за энтим не заржавеет. Всю округу на ушах держит, чёрт хромоногий. Давеча у монопольки с мужиками пьяными песни орали, куражились, к бабам да девкам непристойно приставали.

– Небось, опять шальная денга попала, вот и куражились, вот и орали.

– С трудов праведных не покуражишься, – рассудительно заметил Матвей Макарович. – Тут бы концы с концами... Разве что на святой праздник, и то с оглядкой стопку-другую и шабаш! Не до веселья.

– А какие дела могут быть меж Петрей и барином?

– Бандитские, тёмные, – уверенно ответил кто-то из мужиков. – Ни для кого не новость, что тот, и другой – разбойники с большой дороги, два сапога – пара, одним словом. Такие друг дружку видят издалека.

– А откуда взялся этот Петря?

– Ветром надуло, – хохотнул голос из толпы.

– Такое добро не сеется, не пашется, а само родится. И не тонет. Но обязательно к нашему берегу прибывает, – под общий хохот закончил говоривший. – Нюхайте и не кашляйте, православные!

Люди, удовлетворив любопытство, выговорившись, стали расходиться по домам. На востоке уже заалело, то тут, то там по деревне кричали к рассвету петухи.

Тит отыскал в толпе девчат и молодых Анку, протиснулся ближе, тронул за рукав.

– Анка, – зашептал над ухом. – Подь сюда, дело есть, – мотнул головой в сторону.

Девушка ещё с мгновение колебалась, потом, словно нехотя, двинулась за парнем.

– Какие могут быть дела среди ночи, – тихонько незлобиво ворчала Анка. – Да и утро скоро, коров доить надо, а ты... с вечера почему тебя не было? Вот бы и рассказал про свои дела.

Парень молчал, увлекая девушку всё дальше и дальше от людей, поминутно оглядываясь назад. В какой-то момент он заметил, как из толпы отделилась высокая, крепкая фигура Ваньки Бугая.

– Что? Опять Ванька? – тревога парня передалась и девушке.

– Он, сволочь, – сквозь зубы процедил Тит.

– Бежим! – шепнула Анка и первой кинулась в проулочек.

Следом за ней, не отставая, бежал парень. На повороте перемахнули плетень, зажались в угол, затаились.

Слышно было, как Ванька тяжело дышал, матерясь, пробежал до конца проулочка, вернулся назад.

Он обнаружил их в последний момент. Уже вышел на деревенскую улицу, но что-то заставило его обернуться. В это время Тит привстал из-за плетня.

– А-а, Гу-у-уля, вот ты где. Не уйдёшь от меня!

У Тита была фамилия Гулевич, вот почему все в деревне называли его Гулей.

Расставив руки, набычившись, Ванька пошёл на Тита.

– Бежим, бежим! – тормошила за руку Анка, однако парень словно прилип к земле.

Насупившись, молча ждал.

– Ну, чего ж ты стоишь, дурачок? Убьёт ведь, – девушка уже толкала парня, принуждая его бежать.

Но он лишь отмахнулся от неё.

– Не всё же время бегать. Пора и меру знать.

Ванька Бугай не перепрыгивал плетень, а наступил, повалив его, подмял ногами под себя, и сразу же набросился на парня. От первого удара в грудь Тит отлетел, больно ударившись о землю.

Не торопясь, уверенный в собственной силе и закономерной, явной победе над более слабым противником, Ванька глыбой надвигался на поверженного Тита.

Не обращая внимания на сильную боль в груди, руки в отчаяние шарили по земле, нащупали небольшой, но увесистый булыжник. Схватив камень, парень резко подскочил, и уже ожидал соперника стоя.

– Не жилец ты, Гуля, не-жи-лец! – угрожающе произнёс Ванька, приближаясь к Титу. – Ноги повыдерну, головёшку отверну, сучонок. Забудь Анютку: она моя, ты понял, моя-а-а!

– Не подходи! Убью!

Видно, всё же Иван что-то почувствовал в словах противника, потому как замешкался на мгновение. Обернувшись к плетню, рывком выдернул кол, замахнулся из-за плеча...

Но и Тит был не из робкого десятка. Таскавший на собственном горбу с раннего детства мешки с мукой да зерном вверх-вниз по лестницам мельницы у пана Прибыльского, приученный к тяжёлому крестьянскому труду, поднаторевший и набравшийся бойцовского опыта во многих сельских драках, считался не последним человеком по силе и выносливости в деревне Горевке, надёжным и верным товарищем в потасовках.

Вот и сейчас, не дожидаясь очередного удара нападавшего, Тит, упреждая, бросился навстречу, подпрыгнул, и уже в прыжке нанёс сильный удар сопернику зажатым в руке булыжником. Попал в голову, в висок.

Издав тяжёлый выдох, Ванька Бугай ещё с мгновение смотрел недоумённо на противника, потом ноги подкосились, стал оседать на землю, выронив кол. Кровь ртом пошла, тоненькая струйка побежала из ушей, лицо взялось мелом. Тело раз-другой дёрнулось, застыло.

...Тита Гулевича забирали из дома утром. Запряжённой в бричку лошадью правил пожилой усатый полицейский урядник с саблей на боку и пистолетом в кобуре. К аресту парня отнёсся с пониманием, позволил ему проститься с матерью, с младшей сестрой, собрать котомку. Даже не стал удерживать или препятствовать, когда Тит забежал в хлев, погладил коней, корову, присел во дворе перед собачьей конурой, потрепал пса за ухом.

Уже на улице парень то и дело крутил головой, всё выискивал кого-то, ждал. Наконец, весь встрепенулся, подался навстречу бегущей к нему девушке в серой, приталенной кофте, длинной, в оборках, юбке. Цветастая косынка была зажата в руке, и потому трепыхалась на бегу, будто готовая взлететь. И снова полицейский проявил терпение, курил, пуская дым с ноздрей, даже отвернулся, стараясь не глядеть на арестанта.

– Я буду ждать тебя, Тит, чтобы с тобой не случилось, сколько Богу будет угодно. Ты только верь мне, Титок, милый, – не стесняясь молвы, девушка кинулась на шею, заголосила, запричитала на виду всей деревни.

Мать, младшая сестра тоже повисли на парне, добавили свои голоса. Прошка, другие деревенские парни и мужики, бабы собрались в сторонке, стояли, насупившись, молча наблюдали, шмыгали носами.

– Ну, будет, будет, – урядник выбросил окурок, тщательно растёр о землю каблуком сапога, подошёл к Титу. – Всё, паря, всё-о-о! Пора и честь знать.

Достал откуда-то верёвку, надёжно связал арестанту руки спереди, другим концом прикрепит к бричке.

– Пешком пойдёшь. Убивцам не положено ехать.

Мужики и парни подходили по очереди, хлопали по плечу, некоторые пожимали руки: прощались.

Охранник тронул коня, но и сам не сел в бричку, тоже шёл рядом. Сельчане проводили Тита до деревянного мостка через Волчиху. Анка прошла ещё дальше, остановилась уже на шляхе, что ведёт в уездный город из Никодимово.

– Я буду жда-а-ать! – успела крикнуть на прощание, сунув в карман парню косынку.

Тит только обернулся назад, но сказать что-либо в ответ так и не смог. В горле запершило, сжалось, встало комом. И на душе было так гадко, так пакостно, хоть волком вой. Обида глушила, не давая поднять глаза. Лишь скрежетал зубами.

Шлях представлял собой изрезанную колёсами на колеи насыпную грунтовую дорогу, еле-еле возвышающуюся над окрестными полями. Ямы на ней были кое-где заделаны глиной с песком и камнем. По обеим обочинам белели узенькие стёжки, вытопанные не одним поколением путников. Полынь и чернобыл, редкие и жиденькие кусты лозы росли вдоль тропинок.

Дорога петляла параллельно речке Волчихе по правому берегу, с точностью повторяя все её изгибы и повороты. Там, на той стороне реки тянулись болота с редкими чахлыми березня-

ками. Изредка попадались гривы, обильно заросшие густой травой с высокими стройными соснами. Ближе к болоту, по краю гривы чаще всего росли ольха, чахлые березки, лозняк. Кое-где бугорки суши среди болот облюбовали дубравы. Но это уже ближе к соседней деревне Никитихе, откуда начиналась возвышенность, исчезали топи. Там, за Никитихой, в пяти верстах от неё, и находился уездный городок, один из многих уездных городков Смоленской губернии.

По правую руку стояли поля с редкими колками. Сплошной лес был еле виден вдали, синей стеной постепенно огибая уездный город уже за горизонтом, там, где впадает Волчиха в Днепр.

Чаще всего бричку обгоняли пролётки, кареты; в попутном направлении ползли тяжёлые возы сена, соломы; везли лес, дрова; шли обозы с зерном. С торбами за спиной, с узелками в руках спешили в город путники. Иногда они нагоняли подводу с Титом, норовили пройти вместе, поговорить. Но тогда урядник встревал в разговор, строго отсекая всякие контакты посторонних с арестантом.

– Не положено! Проходи мимо, – отгонял излишне любопытных.

– Так, чай, не чужой ведь, – пытались некоторые особо любопытные разжалобить охранника. – С суседей, с Горевки хлопец-то. Батьку его я хорошо знал: мельницей управлял ещё у старого Прибыльского. Добрый человек был. И мельник честный. А это в наше время огого! И парниша хорошую мельничку сварганил. Да жаль, злой человек порушил. За что ж его-то, горемычного?

Но полицейский был непреклонен.

– Не положено! А будешь надоедать, мешать исполнять служебные обязанности мне, арестую и тебя. Вот в застенке и наговоритесь.

Отставали, однако, на прощание совали в руки Титу то яблоко, то краюху хлеба, пирожок, сухари, а то и шматок сала. Подаяния парень не отвергал, не отказывался, а заботливо складывал в торбу, что висела через плечо.

Тит не забывал благодарить земляков:

– Спасибо, людцы добрые, – не поднимая головы, произносил слова благодарности и шмыгал носом.

Вот тут стражник делал вид, что не замечает, даже отворачивался в такие моменты. Перед этим, сжалившись, развязал руки арестанту, позволив идти свободно.

– Смотри мне, – только и сказал.

Встречные останавливались, долго провожали недоумённым взглядом, качали головой, крестились сами, осеняли крестным знаменем спину арестанта.

– Упаси, Господи, упаси... огради, Матерь Божья... от тюрьмы это... и от суммы, царица Небесная... За что ж это страдальца?

Полицейский строго махал пальцем любопытным, а потом уж один-на-один говорил Титу:

– Бери-бери, что дают. Тюремная баланда... она и есть баланда. Не скоро попробуешь хлебушка домашнего, парень. Зачем мужика-то убил?

– Пусть не лезет, – односложно отвечал Тит.

– Из-за девки?

– Ага.

– Которая провожала?

– Она самая.

– Красивая и сочная девица, – задумчиво произнёс урядник. – За неё можно и грех взять на душу, – и тут же утверждал совершенно противоположное:

– Хотя... все они, бабы, одинаковы. И всё у них одинаково: и титьки, и это... да всё такое же, как и во всех иных баб да девок.

– Не-е, Анка – лучшая, – не соглашался Тит.

– Ну-у, тебе виднее, – не стал спорить полицейский. – Оно, когда втрескаешься по уши, тогда конечно – лучшая. А всё равно зря мужика убил.

– Я не хотел.

– Хотел, не хотел, это теперь роли особой не играет. Мужика-то нет, помер. Хорошо-то, что не мучился. Сказывают твои соседи, что мгновенно окочурился хлопец. Видно, хорошо ты ему стукнул, не жалея. Это ж надо: японскую войну прошёл, выжил мужик в боях страшных с япошками, а дома из-за бабы... того... этого. Вот оно как в жизни бывает, – с сожалением и осуждающе закончил стражник.

Дальше шли молча. Иногда урядник садился в бричку, подъезжал.

– Ноги, холера их бери, – как будто оправдывался перед арестантом. – Доктора говорят, что ходить надо чаще, тогда в коленках не так крутить будет. Мол, клин... это... клином. Вот и хожу. Но бывает невмоготу, что хоть на стенку лезь от боли, да хоть куда залезешь, когда она, окаянная, допечет, не только на телегу взберёшься. Приходится подъезжать. А куда деваться? Вроде как отпустит, полегчает, тогда снова пешим ходом. Вот и сейчас.

Версты за две до уезда у журчащего чистого ключа, что пробил себе дорогу к свету в небольших зарослях лозы вперемешку с репейником, полынью и крапивой недалеко от речного берега, охранник остановил лошадь. К родничку была протоптана стёжка, трава под кустами примята, а местами и вытоптана до самой земли, и сама земля блестела голыми проплешинами. Почти все путники останавливались здесь, утоляли жажду, остужали натруженные ноги прохладной водицей, давали отдых уставшему телу, а то и трапезничали на скорую руку, чем Бог послал.

– Давай перекусим, парень.

Отпустил чересседельник, давая лошади пастись. Она тут же припала к траве, довольно и благодарно пофыркивая.

Перекусывали тем, что было в торбе у арестанта.

После обеда полицейский закурил, подозвал к себе Тита, заговорил доверительно, облокотясь на бричку:

– Ты, парень, на допросах не говори, что из-за девки убил мужика. Говори, что оборонялся. Мол, почувал, что он тебя колом пришибёт. Он же первым с колом пошёл на тебя?

– Да. Так и было.

– То-то и оно. Вот и схватил камень, в защиту себя встал, оборонялся. Оно, и так сидеть, и так посадят, однако, тогда меньший срок дадут. Стой на своём, даже если пытаться станут. Ты молодой – отсидишь маленько, да и выйдешь на волю. Не переживай, и в тюрьме, и на каторге люди живут. От суммы это... не зарекайся и от тюрьмы. Вот оно как серед нашего брата. Да, и ещё скажи, что камень ты нашёл, споткнулся о камень, вот и поднял.

– Когда он меня с ног сбил первым ударом, вот тогда я и упал прямо рядом с этим камнем. Под руку попал булыжник, когда я на земле лежал.

– Тем более, – утвердительно кивнул полицейский. – Вот и стой на своём, чтобы с тобой не делали.

Снял с дышла деревянное ведро, ополоснул, потом из родника ковшиком наполнил до краёв. Отнёс коню. Терпеливо ждал, пока животное напьётся.

– Но-о-о, пошла, шалая! – и только после этого дёрнул за вожжи, тронулись дальше.

Всю дорогу Тит шёл как не своими ногами. До последнего не верилось, что это произошло именно с ним – Гулевич Титом Ивановичем. Казалось – сон это. Страшный, но сон. Вот сейчас проснётся, откроет глаза, скажет, глядя на окно: «Куда ночь – туда и сон», и всё прервётся, закончатся кошмары, будет светлое и чистое пробуждение. И снова первой мыслью подумает о мельнице, о своей мельнице. И тихая волна радости и умилённой благодати укутает душу, мягко коснётся сердца, вышибая слезу из глаз. Будет радостное пробуждение, будет ожидание ещё большего счастья. Как же, в двадцать лет он стал владельцем самой настоящей, своей,

личной водяной мельницы! Её начали строить ещё с отцом, а заканчивал уже он один: батька умер в этом году по весне в самый паводок. Походил по талой воде, всё запруды поправлял, всё ладил, вот и застудился, не встал более, а потом и помер перед святой Пасхой. Но и умирая, просил Тита отвезти его на мельницу, положить у жерновов на стеллаж из досок, куда складывают мешки с зерном перед тем, как высыпать в бункер, а затем пустить в ящик-дозатор с заслонкой, которой регулируют подачу зерна на жернова.

– Хочу, сынок, умереть на своей мельничке. Душа моя радоваться станет, прощаясь с телом, с делами земными. Ведь иметь собственную мельницу – не только моя мечта, а мечта всех поколений Гулевичей. Её, мечту эту, передал мне мой родитель, а ему – его. Сколько поколений мечтало, а выпало счастье нам с тобой, сынок. Гордись! Вот только жаль, что духом хлебным не захлебнись на прощание. И всё равно это ж благодать Господня умереть здесь. Так что, уважь, родимый, исполни мою последнюю волю, – блаженно улыбался старый мельник перед смертью.

Уважил батю сын.

Там и умер отец, у жерновов Богу душу отдал с улыбкой на устах.

Пришлось сыну самому достраивать, доделывать, доводить до ума. Сделал. Провёл и пробный помол. Мелет хорошо, тонко, чисто. Лучше, чем на ветряной мельнице Прибыльских. Жернова-то вместе с вертикальным валом заказывали и везли аж из самого города Смоленска! Оттуда же привезли и водяное колесо, обшитое тонкой жостью с такими же лёгкими металлическими лопастями для нижнего боя: износу не будет. Сам горизонтальный приводной вал с шестерней-маткой тоже брали в Смоленске. Не стали делать у себя: заводской надёжней. И не прогадали. Вот и мололи жернова чудно, на зависть. Отдельно изладил крупорушку при мельнице, проверил её в работе, и снова получилось так, что душа пела от счастья. Вот что значит хорошее оборудование на мельнице!

Мечтали с отцом поставить дополнительное колесо и пристроить к мельнице пыльную и сукновальню. Леса вокруг, материала в избытке, сколько ж можно вручную доску пилить? За шерсть и речи нет. Специальный журнал выписали из самой Москвы-города. Там всё сказано, что и как с сукновальной, с пыльной. Но... не судьба!

Готовился к помолу нового урожая. Сколько надежд возлагал на него, какие только мечты не приходили в голову?! Уже мужики из Горевки, из Никодимово приезжали на мельницу для знакомств. Мол, самим лично посмотреть надо, руками пощупать, что и как тут будет, каков помол. А то вдруг из новой мельницы муку хозяйки не примут, забракуают, не по нраву будет? Вдруг тесто грубым получится, плохо подходить станет? Со старой мельницы привыкли уже. А тут новая. Сомнения – куда им деться среди крестьянского люда? Да по какой цене молоть решил Тит? Деньгой брать будет или мучицей? Иль зерном может? Много ль хлебушка за помол себе оставлять станет? Так же как и у Прибыльского иль чуток поменьше? Тот-то с пуда зерна без малого четыре фунта чистой мучицы забирал.

Гулевичи ещё при живом отце решили брать с давальческого зерна по два с половиной фунта муки. Посчитали, что так и сами в накладе не останутся, и народ должен быть доволен. Всё же сэкономить полкило муки с пуда зерна – это не кот начихал. Но и жадничать не след. Проклянут люди, не рад будешь этой мучице, поперёк горла калач встанет. Да и не по-христиански это.

По такой оплате с голоду семья Гулевичей не помрёт – это уж точно, ещё и в хороших барышах будет, а если добавить в семейные закрома муку из пшенички, что вызреет на собственных десятинах, так куда с добром! Ещё и излишек можно будет продать в уезде на ярмарке. Продать зерно – это половина дела, это – от безысходности, от нужды. Мучица – вот это уже товар, что надо! Конечный продукт в крестьянской работе. И цена муки – неровня зерну. А ещё лучше – хлебушек! Пекарню можно было открыть. Благо, в окрестности нет её, разве что в уезде есть. А в волости – нет.

Хорошая слава шла о новых мельниках, хорошая. Даже несколько раз приезжали из деревни Никитихи, что рядом с уездным городом, тоже интересовались, обещались привезти зернецо. Молва о новой мельнице быстро разнеслась по округе.

Да-а, планы строили...

А третьего дня под утро прибежал от мельницы мальчонка, младший брат Прошки Зеленухина – Илюшка. Он подсобным рабочим был там, помогал. Весь дрожит, в слезах. Незнакомые люди налетели среди ночи на мельницу, связали дядьку Николу, что за сторожа был. Он, Илюшка, ускользнул, скрылся в темноте, затаился в камышах на заводи и уже оттуда наблюдал.

Порушили запруду разбойники, спустили воду, раскатали по брёвнышку мельницу, а что не смогли – облили керосином и подожгли.

Когда Тит прилетел на жеребце к мельнице, спасать уже было нечего: догорала. Вокруг лежали разбросанные брёвна. Лишь колесо и горизонтальный вал уцелели.

Успел только услышать голос с хрипотцой одного из бандитов, увидеть довелось в лунном свете, как бежал он, хромя, до брички.

Кинулся, было, вдогонку, так вот незадача: на полном скаку жеребец попал в ямку, что вырыли кроты, сломан ногу. Беда не ходит одна. Слава Богу, сам уцелел, только больно ударился о землю. А жеребца пришлось убрать: хромой конь в хозяйстве – обуза.

Рано поутру обследовал всю местность вокруг мельницы. Обратил внимание на следы от сапог: Один след полный, а второй – только носок сапога. Пятки не было, не оставила следа пятка на правой ноге. Уверовал ещё больше Тит в тот момент, что один из бандитов слишком приметный: хромой и голос с хрипотцой. Именно его видел среди ночи тогда на мельнице. Искать станет лиходея по этим приметам. А из хромых в бандитах ходит только Петря. Об этом разбойнике Тит слышал с год тому: у всей округи на устах был, вот только встретиться не доводилось. Бог миловал, не пересекались до этого случая пути-дорожки хлебороба и бандита.

Сразу же поспешил в волость, в Никодимово. Обсказал всё как есть в околотке. Так даже слушать не стали. Околоточный смерил презрительным взглядом взъерошенного просителя, процедил сквозь зубы:

– Тут и без тебя дел невпроворот, чтобы твоими мелочами заниматься. Новую мельницу построишь. Ничего не украли, никого не убили. Та-а-ак, пошалил кто-то малость, а ты в околоток сразу. Шалостями полиция не занимается. Жил ведь раньше без мельницы, и дальше без неё проживёшь.хлопот меньше будет, – зло пошутил и быстренько выпроводил Тита на улицу. – Может, по пьянке сам же и сжёг, а сейчас опомнился, страдалец, – прокричал вдогонку. – С больной головы на здоровую переложить хочешь.

К волостному старшине зашёл, тот даже на порог не пустил. Занятым оказался. Волостной писарь взашей вытолкал из канцелярии, обругал в спину:

– Шляются здесь кто не попадая да кому не лень, работать мешают. Неча было заморачиваться...хлопот бы меньше...

Понял тогда Тит, что никому он со своим горем-бедою не нужен: ни волостным властям, ни полиции. Вся надежда только на себя: на свои руки, на свою голову. С тем и ушёл.

Всякое передумал: кто бы мог стоять за разбойниками? Ну, не могли же они за здорово живёшь, запросто так, поехать в ночь за три версты от деревни на пустую мельницу?! Ладно, была бы уже мучица там иль зерно, дело другое. На муку с зерном позарились. А так? Пришёл-таки к мнению, что это дело рук барина Прибыльского. Его рук дело. Несколько раз он сам лично верхом приезжал, смотрел, как строится мельница. Общался с батей, отговаривал. А потом и страшал.

– Чего тебе, Иван Назарович, не хватало у меня на мельнице? Мало платил? Так в чём вопрос? Скажи, чего тебе ещё надо, добавлю.

– Нет, барин. Того, что мне надо, вы дать не сможете. Это деньгами и пудами муки не измерить.

– Чего же? А вдруг смогу?

– Воля, воля мне нужна, благодетель. Надо, чтобы мельница была моя, вы понимаете? Мо-я-а! И земля моя! Чтобы моя мельница на моей земле стояла. Хозяином хочу быть!

– Смотри, чтобы волей своей не захлебнулся, дурак старый, – вышел из себя барин. – Умишка-то Бог не дал, а ты о воле речь завёл. Подохнешь с голоду, но обратно на мельницу не возьму.

– Спасибо, благодетель, – смиренно отвечал старый мельник. – Коль и помру, то на своей земельке, при своей мельничке. А это для меня – благодать Господня. Вот как, барин. Не надо меня страшать. Это, может, мечта моя – умереть на своей собственной земле. В радость та кончина будет. Не каждому дано понять, но это так. А с голоду мы, Гулевичи, никогда не помрём. Знаете, почему? – и, не дожидаясь ответа барина, продолжил:

– Наш род рождён в трудах праведных. Мы знаем цену хлеба, и как он добывается – знаем тоже. И умеем его зарабатывать. Никто нас не уличит в лени.

У Тита тоже разговор состоялся с Алексеем Христофоровичем:

– Пётр Аркадьевич Столыпин позволил вам, сирым и убогим, иметь в личной собственности землю. Так и имейте. Чего вам ещё надо? Паши, сей. Зачем вам лишняя морока с мельницей? Неужели вам с батей не хватала муки с моей мельницы? Я прикажу, и ни один мужик из округи не повезёт к вам молот. Бесплатно, даром молот стану на своей мельнице давальческое зерно. Что тогда? Царь с министрами далеко, а я здесь для вас и царь, и бог. И мельница уже есть одна – моя. Хватит, больше не надо нам мельниц. Пока вся округа успевала молот, жалоб и нареканий не было. А уж если вам так хочется молот, так поставьте в сенях жернова ручные, да и бог вам в помощь! Мелите, сколько влезет, пока не задохнётесь. А поперек моей воли, поперек моего дела становиться не можете: раздавлю! Сотру в порошок и по ветру пушу. Пропущу живыми между жерновами, и не жить вам больше, не ходить по земле со мною рядом, голытьба тупорылая. Я не позволю покуситься на моё право, право сильного и успешного. Вот и думайте с батюшкой, где лучше. И над моими словами хорошенько пораскиньте мозгами: вдруг до истины доберётесь?! Но знать обязаны всегда: когда на кон поставлено моё благополучие, когда в мою среду обитания врывается такая голытьба как вы, я за ценой не постою! Помните и соображайте!

А что было думать? Дело давно решенное.

Покойный отец всю жизнь проработал мельником на мельнице Прибыльских. И его отец там же трудился. Нет, жили они хорошо по сравнению с сельчанами, грех жаловаться. Однако всю жизнь Гулевичи мечтали иметь собственную мельницу. И дед мечтал, и отец мечтал, и он, Тит Гулевич, не был исключением. Он ведь тоже с самого раннего детства там же работал, на мельнице барина Прибыльского.

Как только исполнилось двенадцать годочков, только-только отходил четыре зимы в церковно-приходскую школу в Никодимово, так батя забрал с собой на работу.

– Всё, сынок, отучился, детский хлебушко откушал у родительского стола. Пора и честь знать, пора и на свой хлебушко-то переходить.

То подсобным рабочим при мельнице был на первых порах, на побегушках; то уборку мельницы делал; то чистил короба; а в силу вошёл – мешки с зерном да с мукой таскал. Потом отец постепенно стал допускать до самой мельницы, до управления жерновами, обучал премудростям мельничного дела. Учил выбирать мельчайший зазор между жерновами по звуку; определять степень помола муки на ощупь, не глядя; зрелость зерна узнавать на зуб, а качества муки по вкусу и запаху.

Строгий был отец, ох, и строгий. Но правильный. Куском хлеба не упрекал, но и лодырем жить не позволил. И честным был. На удивление всей округи честным был. Вот за это и ценили его и баре Прибыльские, и крестьяне с окрестных деревень. Помимо своей доли, что выделял барин для мельника за его работу, ни единой щепотки, ни единого фунта мучицы отец

не позволял себе взять с мельницы. А уж из зерна давальческого, из крестьянского – и подавно. Многие даже укоряли Ивана Назаровича: мол, быть у воды и не напиться? Не дурак ли? С трудом верили и не понимали... Однако не брал ни зёрнышка, ни пылинки мучной, чем и снискал уважение у местных жителей.

Прошка Зеленухин – друг детства и подельник Тита, как-то подговорил своего товарища: – Ты в мучице купаешься, а у нас на столе хлеб последний раз был только на Коляды.

А дело было уже по весне, на Сорока. В каждом доме пекли сдобу, славили приход весны, прилёт птиц из жарких стран. Только в доме Прошки не могли позволить себе испечь жаворонков из теста: не из чего.

Жили Зеленухины бедно: три брата, две сестры, все мал-мала меньше, самый старший – Прошка, ровесник Тита, двенадцати годочков. Огородишко при избе в несколько сажений вдоль и поперёк, и всё! А что на таком огородишке посадить-вырастить можно? Ну, картошки несколько кулей. Ну, грядки какие-никакие. А семья-то – шесть душ! И все есть-пить просят. Отца похоронили, когда младшей девочке не было и года. Валил лес барину Прибыльскому в Примаковом урочище, там и придавило сосной. Похрипел, похаркал кровью дома с неделю, да и помер как раз на Успение Пресвятой Богородицы. Мамка их больной была от рождения, батрачила то у одного, то у другого. А то и сидела без дел: не горели желанием сельчане нанимать больную и кривую женщину на работу. Кому охота? Чаше всего полола огороды у богатых, хозяйских коров пасла. Но это ж работа сезонная. А жить-то, кормить семью надо круглый год. Вот и думай тут...

Подговорил Прошка дружка своего. Жалко стало семью Зеленухиных мальчишке. Несколько раз набирал Тит в карманы муки. Не много, не больше полфунта за раз. Относил тайком, высыпал в сенцах у Прошки в чистую посудину.

Как узнал отец – не ведомо, однако узнал, поймал на месте, когда Тит выходил из мельницы с мукой в кармане.

С неделю сынок не мог сидеть, спал только на животе.

– Не моги брать чужое! Грех это, тяжкий грех это! – вот и всё, что сказал в тот момент отец сыну, заправляя обратно ремень в штаны.

Узнал только, кому воровал сынок мучицу. Признался сын, всё рассказал батю.

И не разговаривал с ним, с Титом, почти с месяц. Не замечал. За стол с собой вместе садиться не позволял: противно есть за одним столом с вором. На работу ходили по отдельности: впереди отец, сзади, отстав на сотню сажений – сын. Так же и с работы. По одной тропинке с вором ходить совесть не позволяла старому мельнику. Сколько бы такое длилось – не ведомо, пока мать не надоумила. Встал Тит на колени перед иконой Святой Девы Марии, поклялся в присутствии бабы, что чужого больше ни-ни! Ни в жизнь! Только тогда вроде как смилостивился отец, смягчился, простил сына.

Чуть раньше ушёл с мельницы старик в тот день, когда поймал сына на воровстве, зашёл домой, молча взвалил на спину из кладовки пуда два муки, отнёс Зеленухиным.

– Ты ба, Фиска, ко мне подошла, аль к жёнке моей обратилась. А мальчика сбивать с пути праведного грех, тяжкий грех! Жалостливый он, вот и взял грех на душу. А ты и воспользовалась мягкой душой ребятынка.

– Иван Назарович! – кинулась в ноги женщина. – Как на духу: ни слухом, ни духом не ведала. Это Прошка мой, сорванец этакий. Ты уж прости сироток, Иван Назарович, – рыдала у ног Анфиса. – А я брала, тесто ставила, затирку варганила, деток кормила, не обессудь и прости, кормилец...

– Ладно. Чего уж...

– А за мучицу... – у женщины перехватило дыхание от столь щедрого подарка, – а за мучицу... я... это... век благодарной буду, отработаю. Что хошь для вашей семьи сделаю, Богу молиться за вас стану, – и готова была целовать ноги Ивану Назаровичу.

По настоятельной просьбе старого мельника барин смилостивился, взял в подсобные работники на мельницу двенадцатилетнего Прохора Зеленухина. Выжила семья. Все встали на ноги, слава Богу. До последнего часа работал парень у Прибыльских, и только когда Гулевичи выделились, начали свою мельничку ставить, ушёл к Гулевичам, им подсоблял.

Да-а, вишь, как по жизни бывает.

А вот теперь тюрьма... За какие грехи на его голову такая напасть? Чем провинился он, Гулевич Тит Иванов сын пред Господом Богом, что он навлѣк такие кары на его головушку? И надо же было попасться этому Ваньке Бугаю на его дороге...

Тит до некоторых пор не обращал внимания на девчат: всё в работе да в работе. А тут ещё на семейном совете решили земельку взять, выделиться из общины. Благо, царь-батюшка с министрами дали такую волю. Решились, выделились Гулевичи. Определил, отмерил им землемер из уезда пятнадцать десятин казѣнной земли за Горевкой вдоль берега Волчихи в трёх верстах от деревни. О такой земле и не мечтали! Земля жирная – чернозѣм, прямо хоть на хлеб мажь. Плугом борозду пройдѣшь, отвал лежит, чѣрным цветом блестит на солнце, от жиру лоснится. Воистину, оглоблю воткни – телега вырастет. Не беда, что целик. Осилили, подняли целину. Но, главное, Волчиха на их полях вдаѣтся на изгибе вглубь надела, образуя тихую заводь. Грех не запрудить в таком месте речку, не поставить мельницу. Тем более – мечта это всего рода Гулевичей.

Иван Назарович истоптал не одну пару лаптей, не одни сапоги поизносил, не один десяток гусиных тушек да свиных окороков отнёс ненасытным чиновничьим чадам и домочадцам, но выхлопотал разрешение на строительство мельницы на изгибе Волчихи на своих десятинах. Добился! Мечта сбылась! Не ходил, а летал старый Гулевич по собственной земельке. Помолодел не на один десяток лет. А то! Хозяин! Да не просто хозяин земли в пятнадцать десятин, а и мельник! Мельник на собственной мельнице и на собственной земле! Тут бы не умереть от такого счастья.

Денежки давно откладывал Иван Назарович для строительства своей мельницы. Ещё Государь со своим министром Столыпиным не издал указы о выделении земель и о передаче их в собственность работным крестьянам, а он, Иван Гулевич – крестьянский сын, денежку-то собирал! Чувствовал, что не может того быть, чтобы не повернулись власть, царь-батюшка к крестьянам другим, правильным боком. Должен, должен и обязан быть хозяин настоящий на земле русской! Не ошибся. Дождался той минуты, когда сам стал хозяином.

Прозорливый всё-таки был отец у Тита Гулевича, грех жаловаться.

А тут пришло известие из самого города Санкт-Петербурга: от ран, полученных в русско-японской кампании, после долгой болезни скончался в Петербургском Сухопутном Николаевском военном госпитале командир первого взвода второй стрелковой роты первого пехотного полка 17-й Сибирской стрелковой дивизии подпоручик Гулевич Фѣдор Иванович. Как раз в конце 1906 года бумага пришла о смерти. Больше года валялся по госпиталям, бедолага. Сначала был в Томске, потом перевезли в Екатеринбург. Оттуда – в Саратов. Вот туда, на Волгу, и ездил к сыну отец, проводывал. Застал ещё живым. Уже из Саратова перевели подпоручика в столичный госпиталь. Батя опять собирался съездить, проведать сына. Однако не стало Фѣдора, умер. Не успел родитель...

Спустя полгода вызвали к председателю уездной земельной управы Ивана Назаровича. В торжественной обстановке вручили отцу награды сына, денежное довольствие умершего подпоручика за все эти месяцы его лечения в размере одной тысячи шестисот двадцати трёх рублей. Да сюда же и годовое добавочное жалование за орден Святого великомученика и победоносца Георгия первой степени – целых четыре рубля и пятьдесят копеек; второй степени – два рубля семьдесят копеек; третьей степени – один рубль, восемьдесят копеек и четвёртой степени – девяносто копеек. Полным кавалером Георгиевских крестов был подпоручик Гулевич! И амуничные денежки в размере пятидесяти копеек – сюда же.

Да ещё в придачу уездное дворянское собрание постановило выдать единовременное денежное вознаграждение родителю героя русско-японской кампании в размере четырёх сотен рубликов.

Заказал молебен в Никодимовой церкви отец за упокой души Фёдора, поставил свечку, даже на храм Божий пожертвовал целый червонец.

– Знать, сынок мой болел, раненый, страдал телесно не только за Русь-матушку, а радел и за родителя, раз причитаются мне на его смертушку такие деньжищи, – рассудил старый Гулевич. – Пусть мельница станет памятником моему сыну, – и пустил эти деньги на строительство мельницы, на приобретение оборудования. Добавил к уже имеющимся, ранее отложенным.

Узнал о поставляемом в Смоленск мельничном оборудовании из-за границы, уверовал в его надёжность и качество, побывав в городе на мельнице. Посмотрел, сравнил наше оборудование с иностранным. Решился.

Дважды собирал обоз, ходил сам лично в губернский город. Обставил мельницу честь по чести. И вал, и лопасти заграничные заводские, надёжные. И жернова такие же заводские иностранные. А как же без них? Не ставить же по-старинке сделанные, как у Прибыльских? Всё же опыт работы на мельнице барина нескольких поколений Гулевичей не прошёл даром, понимал старый мельник, что и как должно быть на мельнице. Вот и вышла она на загляденье и на зависть. И крупорушку при ней изладил.

Возможно, поэтому и взбесило Алексея Христофоровича, что его бывший батрак-мельник обставил самого барина? Сделал, возвёл лучшую мельницу? Оказался предприимчивей? Кто знает. Но, скорее всего, так оно и есть. Другого объяснения Тит не находит.

А тут Анка. Ещё в прошлом году, летом, вдруг обратил внимание Тит на соседскую девчонку Анку Аникееву. До этого вроде тоже каждый день видел, и ничего: нескладуха-подросток, пигалица – ничего особенного. Вон их сколько бегает по деревенским улицам. И Анка ничем не выделялась, пока однажды не столкнулся с ней нос к носу на пахоте: их десятины соседствуют с землями Гулевичей. Бог ты мой! Да, оказывается, краше её на свете-то больше и нет девчат!

Встречались тайком от родителей, от чужих очей, миловались.

Им, молодым, казалось, что они делают всё тайно. Но от родительских глаз не скроешь.

Иван Назарович одобрил выбор сына и решил после уборки урожая по осени засылать сватов к Аникеевым. Да, вишь, не дожил. Всё равно, Тит рассказал Анке, клятвенно пообещал, что так оно и будет: придут сваты, чтобы на Покрова Пресвятой Богородицы сыграть свадьбу.

Но не один Тит обратил внимание на семнадцатилетнюю красавицу Анютку Аникееву. И Ванька Бугай тоже положил глаз на девчонку, глянулась она ему.

Односельчанина Ивана Бугаева списали, комиссовали из армии ещё в самом начале русско-японской кампании в 1904 году по ранению: контузия. От близкого взрыва снаряда что-то случилось с головой парня. Мало того, что очень часто мучают его сильно головные боли, так ещё в такие моменты он вроде как не в себе становился. Боль и бешенство идут рука об руку у Ваньки. И это при его-то силище!

Рассказывал его сослуживец, однополчанин Никон Фролов, что видел своими глазами, как в рукопашной схватке Ванька винтовку закидывал за спину, в ярости хватал за воротник в каждую руку по япошке, и так трескал их лбами, что те падали из его рук замертво. Не верить Никону нельзя: серьёзный мужик. Сейчас работает санитаром в волостной больнице в Никодимово.

Когда после сильных приступов боли и бешенства Ваньки кто-нибудь из земляков начал упрекать его, мол, за что воз сена перевернул у человека посреди улицы; зачем деревенскому быку-производителю шею свернул. Иль, за какие такие грехи ты, Иван, приподнял

четыре венца в избе старосты деревни и подложил под брёвна шапку хозяина, тот только непонимающе смотрел на собеседника, пожимал плечами, хлопал невинно глазами:

– Не может быть. Да как я мог?

Блаженный...

В быту Иван Бугаев добрый, добродушный, покладистый парень. Это когда на него дурь находит, тогда звереет. А так, он ничего, жить с ним можно. Безотказный: готов любому помочь. В ночь-за-полночь приходи к нему, обратись за помощью. С матерью жил. Ещё две сестры и два брата у них осталось. Однако, уже все женатые, замужем. Вот и Ванька собирался жениться, Анку Аникееву выбрал.

И надо же было ему поперёк встать. Жаль парня, конечно, жаль. Да и не хотел Тит убивать его. Но вот получилось так, как получилось. Злость взяла в тот момент: сколько можно терпеть? Не рассчитал силу, и, как результат, вот она, тюрьма, маячит за углом красным кирпичным боком. И у Ивана в ту предрассветную пору что-то с головой стряслось – озверел. Видимо, нашла коса на камень.

Глава вторая

Третий день сидит Тит Гулевич в камере уездной тюрьмы. За это время его вызывали на допрос лишь один раз.

Молодой прыщавый следователь с набриолиненной причёской, отдающей жирным блеском, что тот отвал чернозёма на десятинах вдоль Волчихи, сонно смотрел на арестанта, задавал вопросы, позёвывая, не скрывая своего презрения к арестанту.

– Та-а-ак, – сонно тянул следователь. – Говоришь, не хотел убивать, а убил. Как это понимать?

– Так... это... Ванька добрый.

– А зачем тогда убил, если Ванька добрый?

– Он... это... контуженый, Ванька-то. С войны пришёл таким. Когда приступы... это... у него, он, это... звереет. Вот.

– Ну, и... – сонно спрашивал следователь. – Зачем же героя войны камнем по голове?

– В тот раз он кол схватил, на меня пошёл, убить хотел. А я это... камень. Под руку попал. Случайно. Вот. Оборонялся я. А он, Ванька-то, озверел. Он контуженый. А я не хотел. Он добрый.

Тит твёрдо стоял на своём, говорил только так, как учил полицейский урядник, который арестовал его в Горевке.

– Ну-ну, это мы проверим, это мы узнаем. Истина... она... истина, – глубокомысленно изрёк следователь, отправляя Тита обратно в камеру.

Титу от котомки и её содержимого осталась только сама котомка. Всё остальное, включая исподнее бельё, куда-то исчезли, растворились среди многочисленных обитателей камеры. Парень сразу вроде как кинулся искать свои пожитки, но его осадил немолодой уже, бородастый, щербатый мужик.

– Сядь, паря, и не рыпайся. Здесь нет твоего, нет моего, здесь всё – наше. И мы все уже никто. Мы уже не люди, не человеки. Арестанты мы...

– Так... это... – не смог сразу согласиться с такой несправедливостью Тит. – Так нельзя-то чужое брать, грех это, тяжкий грех.

– Не заставляй, чтобы тебя, дурака, тумаками учили втёмную.

Поверил. Смирился. Пришлось смириться, хотя душа противилась. Наука, преподанная отцом, не прошла даром.

Какое же было удивление Тита, когда на исходе шестого дня в камеру кинули Петря! Тит не мог ошибиться: это был тот самый Петря!

Новичок был в чистом, отутюженном френче, чёрные галифе заправлены в хромовые, слегка припыленные сапоги. Короткая аккуратная причёска топорщилась ёжиком. Тёмные, чуть-чуть прищуренные глаза смотрели по-хозяйски строго и выжидательно.

– Петря! – пронеслось шёпотом по камере. – Сам Петря!

Несколько мужиков, что сидели на нарах у окна, тут же вскочили, поправили тряпки на нарах, услужливо предложили место новому сидельцу. Остальные арестанты встали, произвольно выстроились вдоль стен, как при появлении в камере тюремного начальства.

Тит тоже встал, вжался в стенку, наблюдал, затаив дыхание. Он был уверен, что Петря его не видел в лицо ни там, на мельнице, и уж тем более – на меже у тока Прибыльского. И, тем не менее, что-то застучало сердечко, заволновался вдруг Тит Гулевич. Но волнение то было с привкусом злорадства: знать, и таким людям, как Петря не заказан путь до тюрьмы. И тут же огнём обожгла догадка: посадили этого разбойника быстрее всего за пожар на току Прибыльского. Из-за него, из-за Тита Гулевича сел в тюрьму Петря – главарь и предводитель местных бандитов. А то, что это предводитель местных бандитов – Тит уже знал. Об этом человеки

только и говорили обитатели камеры. И всякий раз Петря представлял в глазах очередного рассказчика таким героем, самым справедливым и правильным мужиком в уезде. Да что в уезде?! Во всей губернии! К нему частенько обращались те, кто не мог найти правду ни в полиции, ни у волостного старшины. Тогда шли к Петре. Ну-ну! Блажен, кто верует. Тит уже знает, что и кого собой представляет этот горе-защитник.

Вблизи он оказался ровесником Тита, или чуть старше – лет двадцати пяти-двадцати шести. Хотя ростом выше будет. Крепкая шея, длинные жилистые руки, широкие плечи и говорили о его силе. Продолговатое, чисто выбритое с тонкими чертами лицо, оставалось спокойным, лучилось улыбкой. Однако Тит уже знал, что за кажущимся благодушием, добротой и благородством скрывается довольно жёсткий, если не жестокий человек, готовый идти к своей цели, не считаясь ни с чем и ни с кем.

Это он, Петря, со своими разбойниками порушили его, Тита, мечту: уничтожили мельницу. Может, и правильно, что этого главаря посадили в тюрьму? Где же было его благородство, когда он рушил и сжигал мельницу? Значит, это просто бандит безо всяких оговорок. Лихоимец.

Что мог сделать сам Тит этому холённому предводителю разбойников? Да ничего! Даже не знает, где живёт, где появляется эта тёмная личность. Он отомстил тому, кто науськал, натравил Петрю на его мельницу, оплатил его разбойничьи делишки. Скорее всего, сам барин Прибыльский постарался, чтобы Петря оказался на нарах в тюремной камере. Выходит, Господь справедлив, воздав по заслугам каждому.

Вспомнил вдруг сцену на току. И он, Тит, на меже в бурьяне...

Если это так, то доволен ли сам Тит возмездием? Трудно сказать. С одной стороны, вроде как и в расчёте: у него сгорела мельница, у барина – овины, конюшня, другие постройки. Но мельницу этим возмездием заново не построишь. Исчезла, сгорела мечта, что держала не одно поколение Гулевичей. И всё благодаря Прибыльскому и вот этому прощельге.

Всё это промелькнуло в сознании Тита. Найти что-то хорошее в облике новичка он уже не пытался, однажды определив его в разряд ничтожных, вредных людей. Поэтому не стал больше поддаваться общему порыву, а снова вернулся на своё место у стенки.

В камере воцарилась та же атмосфера, что и была до появления Петри. Кто-то искался в одежде; несколько мужиков продолжили играть в карты; четверо, видно, из заводских, сидели отдельной группкой, что-то оживлённо обсуждали. Вокруг Петри шушукались двое наголо бритых арестантов, лебезили.

Клонило ко сну. Однако стоило подумать о своём теперешнем месте, об оставленном хозяйстве, о маме, сестричке, Аннушке, о сожжённой мельнице, как тут же сон улетучивался. На смену ему приходило странное чувство неудовлетворения, горечи, обиды, и ещё чего-то, чему Тит не мог дать названия. Но эти чувства угнетали, не давали подняться голове, прижимали к грязному, заплёванному полу тюремной камеры.

К Титу подсел всё тот же бородатый, щербатый мужик, принялся штопать своё рваньё невесть где добытыми иголкой с ниткой. Заскорузлые, толстые пальцы держали иголку неуверенно, она то и дело выскальзывала из рук, мужик тихонько матерился, но всё также продолжать тыкать ею в одежду. Наконец, ему это надоело, он отложил шитьё в сторону, обратился к Титу:

– Плохо дело: не чувят пальцы иголку-то. Больно тонка, чертовка. Этим рукам привычней плуг, коса, цеп, а не такие тонкие инструменты, как иголка.

Тит не ответил, лишь пожал плечами.

– Говоришь, из Горевки ты?

– Ага.

– Ну, и много у вас мужиков вышло из общины? – поинтересовался сосед. – У нас в Никитихе народишко боится, не спешит особо. Со мной человек пять будет, которые в хозяева пошли. А в Горевке как?

– Семей десять наберётся, – Титу не хотелось разговаривать. Ответил, лишь бы отвязаться.

Но щербатый мужик не думал так.

– Эк, в кои-то времена дали земельку в собственность, а тут тюрьма. Пашеничку ещё не убрал, жито не успел свести, спрятать под крышей. Мои молодичи сжали, сложили в суслоны, а меня – в острог, как татя... Кто ж там сейчас управится? Разве ж сынок один сможет без меня? Он же без руки пришёл с фронта, скрутить самокрутку сам не может, не то, чтобы снопы на кошеву закидать да в ригу отвести. Справится? А внучок ещё маленький, несмышлёныш пока. Какая помощь от него? Скорее немощь, чем это... В риге, в риге-то спокойней, надёжней для снопов. Пусть бы дозрели, высохли, дошли бы. Тогда и молоти за милую душу. Но не дают нашему брату развернуться, всё поперёк путя встают. Вот и мне... О-хо-хо-о, – тяжело вздохнул, повернулся к Титу. – Ты читать-писать можешь? – вдруг без перехода спросил соседа.

– Ходил в церковно-приходскую школу четыре зимы в Никодимово. Умею малость. Тебе зачем?

– Мой старший сынок прийти должен на свиданку на следующей неделе. Обещался газету принести. У нас в Никитихе сапожник Митрий откель-то принёс газетёнку ту. Мужики, говорят, хотели на самокрутки пустить, так Митрий не дал. В ней отписано, что царь-батюшка со своими министрами предлагают ехать в Сибирь заселять земли тамошние, расейские. Деньгу даже обещают через Крестьянский банк, помощь государства переселенцам. Вон как. Я и попросил сыночка-то принести мне газету. Клялся, что принесёт. Хочу сам лично увидеть, что не врёт народишко-то. Сам, сам удостовериться хочу. Больно интересная та газетёнка для нас, мужиков крестьянских, для хлеборобов. Умные люди сказывают, что там, в Сибири за Большим Камнем иль проще – за Уралом-горой земли не меряно: бери – не хочу. А людишек, хлеборобов-то и нету. Одни эти... как их... эт, голова, запомятовал... басурмане, одним словом, там живут, да и то маленько их, не осилить им ту землю за Камень-горой. Пишут, что и семенами обещают помочь, инвентарём, то да сё. Тягловой скотинкой. Мой сынок сначала на войну, потом с войны ехал паровозом с самого Дальнего Востоку через всю Россию. Говорит, ума не хватает, чтобы объять даже в мыслях Русь нашу. Больше месяца до дома добирался. Вон оно, какая державища Россия-то, а земли работным людям нету. Жалко, вишь ли, чтобы простой мужик хозяйствовал свободно на родной земельке. Пусть лучше пустует, дичает, или этим... вот, опять из головы выскочило, холера его бери. Ага, вспомнил, басурмане пусть бездельничают на ней, тьфу, прости, Господи. Это как понимать? Не справедливо, не по-божески это. Врал, нет, не знаю. Он и соврёт – дорого не возьмёт. Но сказывал, сутки едешь по Сибири – ни единого двора! Только леса да поля непаханные, собой неохватные. Травища нетронутая стоит, выше человека в рост будет. А уж густю-у-ущая-а. Добрый косец не протянет косу за раз, не сможет, вот какая густющая. Зверь дикий шастает, людей не боится. Непуганый, знать. А кем пугать-то, кого бояться, коль людишек нет?! В реках да озёрах ры-ы-ыбы-ы-ы – тьма тьмушая! Руками лови, снасти не нужны. Хоть пешим ходом по спинам рыбьим ходи на другой берег. Вот где житуха! А, как думаешь?

– Не знаю, – пожал плечами Тит. – И я такие байки слышал. Только на деле ладно там, где нас нет. Все так говорят. А приедешь – глядь, а там уже какой-нибудь барин Прибыльский с Петрей свои тёмные делишки обставляют, и нет тебе места у них за столом. Вот и думай тут.

– Вроде, как и правильно говоришь. Гадких людишек хватает на святой Руси, правда твоя. Но зря ты, паря, не веришь. Умные люди сказывают, не нам чета. А всё равно так хочется быть хозяином своей земельки, – мечтательно улыбнулся мужик, обнажив на половину щербатый рот. – Хочется верить, что где-то есть места, где крестьянину хорошо, благостно. Где

он чувствует себя хозяином, а не скотом тягловым, во как. Где его за человека считают. А ты наотмашь: не верю, мол. Чего ж помечтать мне не даёшь, паря? Хотя в мыслях возвыситься это, из дерьма вылезти.

– Кто ж тебе не даёт? – возразил Тит. – Я, что ли? Бери землю, паши и сей. Считаю себя человеком, пари над нами, смертными. Только вот беда: в тюрьме землёй не наделяют.

– Я не об этом, – вроде как пошёл на попятную мужик. – Я – вообще про крестьянскую жизнь. К хорошему тянет. Вот у меня, к примеру: семь казённых десятин, что для нашей семьи выделила община в Никитихе, не мой размах. Просил пятнадцать. Не дали. Говорят, не смогу поднять. Но они-то меня не знают, парень! Слышь, не-зна-ют! Я, может, и сотню осилю, ума хватит. Не гляди, что тёмный, беззубый да дурковатый видом. Я – сообразительный, вот как. А тут в Сибири дают земельку. Бери, бают, сколь влезет, сколь поднять, освоить сможешь. Вот где раздолье! Были бы крылы, взял бы и полетел в те края. Э-э-эх! Ну, так как, прочитаешь газетку? Смогёшь?

– Попробую, – буркнул в ответ Тит.

– Вот и ладненько. Если правду люди говорят, отсижу в тюрьме-то, да и подамся в Сибирь. Плюнули мне в душу в Никитихе, вот как, паря. Обозлился я на наш народец-то, обиделся. И-э-эх! Да что говорить?! Власть наши только и могут, что до могилы или до тюрьмы доводить простого человека. Вот как оно. А мы, лапотники, всё светлого будущего ждём, чашки для манной небесной наготове держим, рты разинув. И ложку большущую в руке зажали, чтоб, значит, полным ртом манну эту... А сами палец о палец не ударим, чтобы, значит, сделать жизнь лучше. От лени скоро мхом позарастаем.

Камера тихо гудела мужскими голосами. Изредка от нар, где отдыхал Петря, раздавались громкий говор, заискивающие восхищённые вскрики, натянутый смех.

Принесли баланду к вечеру. Арестанты выстроились в очередь со своими мисками да котелками к окошку, что в дверях. Встал и Тит вместе с мужиком.

Вдоль очереди неспешно прохаживался один из лысых прислужников Петри, внимательно присматриваясь к посуде у арестантов. Заметив в руках Тита чисто вымытую металлическую глубокую чашку, жестом потребовал отдать ему.

– Ты чего хочешь, браток? – невинно спросил Тит.

– Чашку! Быстро!

– А я? А мне? – не мог сразу понять Гулевич требований лысого, но на всякий случай спрятал чашку за спину.

– Для Петри! Ты что, не понял, дярёвня? – продолжал наступать лысый. – Ну, быстро!

– Да пошёл ты... – Тит не успел договорить, как противник, не замахиаясь, снизу сильно ударил ему в челюсти.

Клацнув зубами, Гулевич отлетел к входной двери.

На нарах оживились вдруг. Оттуда же с интересом наблюдал за перебранкой Петря с подельником. Все остальные арестанты вмиг разбежались по камере, затаились.

Засунув чашку за пазуху, Тит пошёл на соперника. Тот стоял посреди камеры, ехидно улыбался, нервно подёргивая коленкой. Не обращая внимания на удары лысого, Гулевич схватил его за грудки, оторвал от пола, с разгона припечатал к кирпичной стенке камеры.

– Вот тебе моя миска, браток. Кушай, не подавись, – глядя на безвольно осевшего вдоль стенки лысого, промолвил Тит, вытирая рукавом кровь с разбитых губ.

На помощь лысому кинулся его подельник, запрыгал перед Гулевичем, размахивая руками, но приближаться остерегался.

– Ну, мля! Ну...

– Подходи, чего ж ты? Ещё одним больше станет, – и не понять было: то ли добавится к Ваньке Бугаю, то ли сядет рядом с лысым у стены.

Ни для кого в камере не было секретом, за что арестовали Тита, поэтому, видно, подельник лысого не бросался в драку, а лишь куражился, боясь пополнить любой из списков противника.

Краем глаз Тит увидел, как поднялся с нар Петря, направился к месту драки.

В тот же миг рядом с Титом встал бородатый щербатый сосед, плюнул в ладошки, растёр, принялся закатывать рукава.

– Так, паря, у нас, в Никитихе, не принято своих в беде бросать. Дадим жару. Становись к стенке, прикрывай меня со спины. Трое на одного даже в нашей деревне не ходят.

И уже к троице:

– Ну, кто из вас самый смелый? Вот он я, напрыгивай! Умойся кровушкой, сучий потрох! Однако драке не суждено было развиваться.

Дверь в камеру открылась, вошли двое конвойных.

– Что за шум? Почему отказываетесь от приёма пищи? – спросил один из них, что помладше.

Его товарищ, который постарше, зорким, опытным взглядом окинул камеру, оценивая обстановку.

– Кто вам сказал, друзья-приятели? – прыгающей походкой к ним подошёл Петря. – Здесь не только не отказываются, здесь страстно желают, прямо жаждут проглотить этак порций по пять на брата.

– А-а-а, – протянул старший конвоир, увлекая товарища к выходу. – Смотрите мне, а не то...

– Васильич, а с этим что? – молодой ткнул пальцем в сторону безвольно сидевшего на полу лысого арестанта, из носа которого бежала кровь.

– С ним? – старший ещё раз окинул взглядом камеру, подтолкнул напарника к двери. – Небось, животом мается. Нам какое дело до его утробы? Пошли, сами разберутся. Не маленькие.

– Так... кровь, Васильич! – не отставал молодой. – Смотри, юшкой красной весь умыт. Какой живот? И бледней бледного, как смерть. Тут что-то не то.

– А ты кто, лекарь, что ли, чтобы о хворобе говорить? Сказал требуха, значит требухой и мается. Тут и без них дел невпроворот, а ты ещё заладил, – незлобиво ворчал старший конвоир уже на выходе из камеры, подталкивая в спину напарника.

Конвоиры ушли, дверь закрылась, арестанты снова выстроились в очередь за пищей. Встал и Тит.

В тот момент, когда он сунул чашку в окошко, на плечо легла рука Петри.

– Эй, браток! – обратился Петря к арестанту, что наливал баланду на той стороне двери. – Плесни на двоих, – и указал на чашку Тита. – Полную и гуцу со дна. Не жадничай. Ты не возражаешь? – тут же повернулся к Гулевичу.

– Так... это... – опешил Тит. – Хотя... нет, чего уж...

Первым ел Петря. Ел аккуратно, не хлебал, не втягивал шумно баланду, ел тихо, то и дело касаясь деревянной ложкой края чашки, не давая каплям упасть на столешницу. Тит сидел рядом, уставившись в исчерченный, изрезанный стол, что стоит посреди камеры, терпеливо ждал.

Потом принимал пищу Гулевич, а Петря не ушёл, остался сидеть за столом, задумавшись.

«С чего это он со мной из одной чашки? Неужто догадался или как-то узнал? – тревожные мысли терзали Тита. И тут же успокаивал себя. – Откуда? Как он мог догадаться? Ни одна живая душа не видела. А если и узнал, и что?».

Когда закончили ужин, Петря пригласил Тита:

– Пойдём ко мне, поговорим.

– Мне и тут неплохо, – отказался от приглашения Гулевич. – Если хочешь, то садись со мной рядышком. Места у стенки на полу всем хватит.

– Я не гордый, – Петря спокойно отреагировал на далеко недружелюбный тон Тита. – Можно и у стеночки. Чего уж...

В углу камеры на нарах один из лысых арестантов колдовал над товарищем, делал прищипки, накладывал на лоб мокрую тряпку, что-то тихо говорил ему, изредка бросая недовольные взгляды в сторону Петри, который уже сидел рядом с Титом у стенки. С другой стороны пристроился щербатый мужчина из Никитихи. Снова достал иголку с ниткой, опять принялся штопать холщовые штаны прямо на себе, не снимая, тихо матерясь, то и дело, бросая подозрительные взгляды на нового соседа:

– И что за народ наш такой, что даже в остроге не могут обойтись без битья морд? Мало того, что тебя воли лишили, так ещё каждый норовит верха над тобой взять, верховодить пытается. А то и скулу набок свернуть. И когда только русский мужик станет сам себя уважать?

– Ишь, ты! Философ, – иронично заметил Петря. – А чего ж ты в стенку встал? Сидел бы себе спокойно, наблюдал бы со стороны. Значит, сам напрашивался на драку?

– Ну-у, дык... – мужчина нервно заёрзал на полу. – Ну-у... дык... по закону должна быть драка, по правилам. А тут три бугая на одного парнишку. Так нельзя. Вот и не сдержался. Да и свой малец, наших людей будет. Его Горевка в верстах десяти от моей Никитихи стоит, знать, сосед он мне. А иной сосед лучше брата родного, во как. Тем более, здесь, в тюрьме, без такого родства вряд ли выживешь, как я понимаю. Тут без поддержки, без крепкого плеча верного товарища никак не обойтись. И своих это... грех в беде оставлять.

– А кто ж эти трое злодеев? – Петря обвёл взглядом камеру. – Неужели и меня к ним причислил, страдалец? – и кивнул в сторону нар.

– Ну-у... дык... Вы же втроем сидели, друзья-товарищи, стало быть. А парнишка-то один, вот какое дело. У нас в Никитихе так не принято: втроем на одного. За это и в морду можно схлопотать, между прочим, не рассуждая, кормилец. Это чтоб ты знал, если что. Один на один – всегда пожалуйста! С удовольствием и вашим почтением. Бейте друг дружке рожи, сколь сможете, сколь душе того... этого... а по-иному не моги! Не то харю в другую сторону повернём, и страдания петь заставим, вот как. За нами не заржавеет. Нас пьяный поп крестил в Никитихе, если что. Потому и отчаянные мы.

– Молодец, мужик! Ну, молодец! – воскликнул Петря, не отводя восхищённого взгляда от собеседника, потирая руки. – Вот тут ты правильно говоришь, дружок. Тут я с тобой полностью согласен.

– Да ладно, – мужчина отвернулся. – Нужно мне твоё согласие, как мёртвому припарка.

Тит вначале вроде как прислушивался к перебранке соседей, потом снова одолели собственные мысли. Опустив голову, поджав колени, обхватив их руками, застыл в такой позе, погрузился в тяжкие думы. А как тут не думать? Тут в пору с ума сойти, не то, что... Волком быть готов, лишь бы этот вой помог, смог бы выправить, всё вернуть в старое русло, как было ещё две недели, нет, даже неделю назад: мельница, Анка... Радовался каждому новому дню, просыпался и засыпал с улыбкой на устах.

Как мечтал, какие планы строил, как радовался своей земле, мельнице! С Аннушкой обговаривали будущее, о детишках речь заводили. И почему так устроена жизнь, что в один момент рушится опора под ногами? Чем прогневил Бога Тит Гулевич, за что свалились на его голову все несчастья, за какие грехи? Прыщавый следователь говорил сегодня на очередном допросе, что за убийство Ваньки Бугаёва согласно Уголовному Уложению от 1903 года отправят Тита на каторгу аж на двадцать годочков! Во как! Это, мол, за то, что Тит заранее обдумал, замыслил соперника убрать со своего пути. Значит, прыщавый уже побывал в Горевке, разузнал всё. Неужели кто-то из сельчан навёл напраслину? Никогда и никому не говорил, даже самому себе в мыслях не держал зла на Ваньку. Но следователь утверждает, что готовился

убрать с дороги соперника. Однако ж Тит ничего такого не замышлял. Да и как можно было на Ваньку Бугая сердиться, замышлять что-то плохое против него, если Иван хороший?

Именно он, Ванька Бугай помогал устанавливать жернова на мельницу, ворочал один за пятерых мужиков. Отец не мог на него нарадоваться, когда Иван ухватил вертикальный вал, установил в нижнюю шестерню и удерживал до тех пор, пока вал не закрепили жёстко и строго вертикально. А ведь это была самая трудоёмкая работа, которой отец побаивался, не знал, как приступить к ней, как справиться. Леса собирался ставить, толоку созывать, чтобы удобней и наверняка... А Ванька сладил! Один! За что ж на Ваньку-то зло держать? Хотя, если не кривить душой, то Тит всё же злился на Ивана, однако, чтобы убить?! Нет! Такого и в мыслях не было. В страшном сне, в бреду прийти в голову не могло.

Парень ещё и ещё раз перебирает в памяти все свои мысли, чувства, и приходит к выводу, что не хотел, видит Бог, не хотел убивать. Так получилось... И зачем он этот камень... Не послушал Анку, не убёг, а надо было. Так, вишь, гордыня взыграла, мол, сколько можно убегать, пора и честь знать. Но и с другой стороны: Тит не под плетнём найден, и гордость имеет, и Бог силой не обидел. Так что, как не крути, а кто-то из парней должен был когда-то уступить дорогу. Но вот так, таким путём? Упаси, Господь! Однако ж...

– И-и-э-эх! – парень и не заметил, как заскрежетал зубами от бессилия, издав тяжёлый вздох, раскачиваясь из стороны в сторону. – За что, Господи-и-и? – почти выл Тит у стенки. – И человека жизни лишил, и себе поломал, вахлак, прости, Господи. Это ж только через двадцать лет вернусь в Горевку, если не сгину на этой проклятой каторге.

Кого винить? Как жить дальше? И стоит ли жить? Может, голову в петлю, да и конец мучениям? Это ж и позора сколько перетерпеть придётся, а на сердце, в душе какая тяжесть? Как с этой грешной ношей жить?

Батя помер, и горе-беда как будто из мешка выскочили и прибежали к Титу, навалились на его бедную голову. Дома мать с сестрой Танюшкой остались. Сестра на выданье. А кто её сейчас засватает, если невеста – сестра убийцы? Это ж пятно на всю семью, на весь род. Заработать, получить это пятно можно за мгновение. А вот стереть? Годы нужны, десятилетия. Не одно поколение сменится, пока люди забудут. Если и возьмёт кто замуж, так в лучшем случае вдовец с детишками мал-мала меньше на руках. Мало того, что свою жизнь испоганил, так ещё и сестре родной подгадил.

На произвол судьбы семью бросил. Каково-то семье? И как с пятнадцатью десятинами земли управится мать? Хорошо, что не все под пахотой: шесть десятин, что вдоль речки Волчихи, оставили под луга: больно сенокосы там хорошие. Скотину кормить будет чем, не будет дрожать рука, когда в ясли животине корма кидать станут. Излишки можно и продать, если на ярмарку в уезд отвести.

А на оставшиеся десятины две пары волов, два молодых коня, обученных только этой весной, мерин, жерёбая кобылица. В хлеву стоят две коровы, овцы, свиньи, домашняя птица. Да, есть плуг, лобогрейка, конные грабли, бороны. Но как? Как две женщины – старая и молодая, – смогут хозяйствовать без мужских рук? Это ж и за плугом ходить надо, а на уборке слазить с парой лошадей в лобогрейке? Коренник не обучен для пары, пристяжная молодая. Их ведь ещё надо обучить, чтобы они привыкли друг к дружке, к тяжкому труду, втянуть в работу надо молодняк. Спасибо, волы приучены к работе, справные, тяговитые.

Пары готовить, озимую рожь сеять надо. Тут доброму мужику еле-еле... Хорошо бы Прошка Зеленухин с братом своим меньшим Илюшкой не отвернулись от Гулевичей, остались бы в работниках. Как-никак, а мужики. Притом, работники толковые, не воры и не лодыри. А это по нынешним временам дорогого стоит. И вроде как Прошка неровно дышит при виде Титовой сестры. Пусть бы уж и породнились. Тогда и проблемы многие отпадут.

И-и-эх! Самому бы всё организовать, хозяйствовать.

Только-только вкус к жизни почувствовал, так видишь...

А тут мельницу уничтожили, порушили мечту нескольких поколений Гулевичей. Вот беда так беда. Кто ж в этом виноват? – снова и снова спрашивал себя Тит и вроде находил ответ, но тут же сомневался в нём.

Так сложилось? Злой рок? Судьба?

Однако всё же выходило, что виноват во всех бедах в первую голову Прибыльский Алексей Христофорович, так считал Тит. Он, именно он сжёг мечту, выбил почву из-под ног рода Гулевичей. Петря? Так это исполнитель барской воли: деньги дали, указали что сделать, вот и сделал. Сам бы он вряд ли. Кто платит, того желания исполняет. Обычный разбойник без царя в голове. У таких людишек нет за душой ничего святого, живут не лучше бесхозной собаки: нашёл кость – съел, и снова рыскает по округе, где бы что украсть, поживиться, натолкать утробу. У другой собаки кость увидит – отберёт.

– Да-а-а, – Тит поднял голову, окинул взглядом камеру. – Да-а-а. Тут тебе, бабушка, и Юрьев день. И управы нет на барина, вот ведь какая штука. И сам обратной дороги не вижу. Встрял, так встрял-а-ал.

От тяжёлых мыслей отвлек монотонный говор щербатого мужика из Никитихи:

– Был, был мой старший сынок на войне. А как же. На Руси всегда так: крестьянину земли царь не даёт, изо всех сил его притесняет, куражится над ним, издевается да изгаляется, а вот на защиту России зовёт. И зовёт – то в первую очередь. Вот ведь какая штука. Они, горетные крестьяне, за Русь, за земельку русскую первыми головы свои складывают, а что взамен? А, я тебя спрашиваю? Могилка в земле русской и всё?! Что взамен кроме могилки? – мужик тыкал обкуренный, заскорузлый палец в грудь Петри, будто он – это самый что ни на есть самодержец всея Руси. – При жизни-то что получает крестьянин? Ты ему сейчас дай захлебнуться запахом свежеспаханного собственного надела, дай сердцу крестьянскому затрепетать от умиления на урожай свой, своими руками выращенный, глядя. Дай присесть мужику на краю собственного надела с приятной дрожью в ногах и руках от трудов праведных, дай душе его крестьянской замереть от восторга, от счастья за жизнь распрекрасную на Руси. Вот тогда он с ещё большей яростью порвёт, изничтожит любого врага, кто на Русь посягнёт. Хотя... хотя и так русский мужик завсегда впереди при защите... того... этого... вот как, – мужчина чуть ли не кидался на собеседника, настолько вошёл в раж. – Чего молчишь? Ну и молчи, коль не знаешь, что сказать. Но вот наконец-то смиловился царь со своими министрами: дали землю. А что толку?

Однако Петря молчал, лишь с интересом смотрел на соседа, кивал головой. И не понятно было Титу: то ли он соглашался, то ли поощрял рассказчика.

– Не знаешь. Правильно! Откуда тебе знать? – с жаром продолжил щербатый мужик. – Ты, по слухам, больше с ножичком из-под мостка промышлял. Иль в тёмном месте богатым бороды брил без их согласия. Где тебе понять хлебороба и защитника земли русской?

– Не скажи, не скажи, страдалец, – оживился сосед при последних словах собеседника. – Ты же меня не знаешь, а такое говоришь.

– Да о тебе только и разговоры среди сидельцев, – не сдавался мужик. – Что ни рассказ, то прямо герой. А говоришь «не знаю». Знаю, так что... Сыну моему за отстреленную руку на японской войне положили из уездной казны пять рубликов и семьдесят восемь копеек. Вот как. Калека, понял? Он сейчас калека, а не хлебороб. А ты ещё спрашиваешь: «Воевал ли кто из моей семьи с япошками?». Конечно, воевал! Как это война без нас, крестьян, обойтись может? А он, сынок мой, как сейчас за соху иль плуг встанет? Кто скажет? Как вилы-тройчатки возьмёт? Как косой прокос пройдёт? Косу отбить-оттянуть не сумеет. Вот то-то и оно. Искалечило государство сыночка, кинуло в морду пять рубликов, и подыхай, Никита, Иванов сын. Иваном меня зовут, – мужчина по очереди кивнул сначала Петре, потом и Титу. – Иван

Наумович Хурсанов, во как меня родители назвали, если что. А сына Никитой мы с супружницей нарекли.

На некоторое время троица замолчала, каждый погрузился в свои мысли или прислушивался к гулу в камере.

Вокруг них товарищи по несчастью разговаривали, чинили одежду, искались, попутно неспешно вели свои нескончаемые арестантские беседы, готовились ко сну.

Тит уже знал историю Ивана Наумовича Хурсанова.

Ещё в позапрошлом году, когда Иван выходил из общины, уездный землемер пообещал мужику отмерить семь десятин хорошего чернозёма и в хорошем месте, почти у дома, вдоль речки Волчихи. Но это при условии, если Хурсанов заплатит ему пятнадцать рубликов за эту услугу поверх того, что Иван оплатил уже в уездную казну целых два рубля и двадцать копеек за работу землемера. Однако готов был Иван Наумович отдать такие деньжищи ещё раз, но, вот беда! Не было у него таких денег. Что были, раздал начальству то в волости, то в уезде, пока за землю хлопотал. Коня, пару волов приобрёл, плуг, бороны. А деньги-то не растут в кармане! Их сначала заработать надо. Вот ведь как!

И так, и этак изворачивался хозяин, а пятнадцать рублей добыть не смог. Но и землемер стоял на своём: уже собрался отмерить Ивану землю на краю болота в пяти верстах от Никитихи. И это в такой дали от деревни?! А что такое болото? Оно и есть болото. Ведь не лягушек да осоку собрался выращивать на своей земле Иван Хурсанов, понимать надо.

Клятвенно пообещал мужик рассчитаться с землемером, побожился, расписался в бумажке, что после уборочной страды отдаст эти злополучные пятнадцать рублей. Сдержал слово, отдал как раз на День Казанской иконы Божьей Матери. Все до копейки.

Однако землемер, подлая душонка, хотя и землю-то выделил хорошую, грех жаловаться, но бумажку с подписью Ивана не вернул, не порвал и не выбросил, а подал её мировому судье. И приписал ещё в том обращении, что будто бы Иван Наумович Хурсанов брал у него, честного служащего уездного земельного ведомства, денежки в долг целых пятнадцать рубликов, а отдавать не желает. Подтверждением тому является расписка. Во как! И стал периодически навещать к Ивану в Никитиху, требовать несуществующий долг или взамен на расписку отдать ему на утеху младшую пятнадцатилетнюю дочурку Верку. Мол, прокатит он её вечером в карете, как барыню, и папка не станет больше быть должным ему, землемеру. Больно уж она понравилась этому прощельге: молодая, статная, лицом приятная.

Волком взвыл мужик от такой несправедливости и неприкрытой наглости, но ничего поделать не мог: мировой судья встал на сторону вымогателя. Бумажка-то Иваном подписана, собственноручно крестик ставил. А все увещания на мздоимство и похабство в отношении молоденькой дочурки назвал оговором честного человека, государственного служащего и пригрозил строгим наказанием.

Понял мужик, что правды не добьется, а жить обманутым и униженным душа не позволяла. И земля не в радость, коль таким образом за неё рассчитываться надо – дочерью да ложью. Велика цена, неподъёмная.

Что-то в душе было такое большое и больное, необъяснимое, что дороже земли, что не позволяло вступить в сделку с подлым человеком – землемером. Оно же не позволяло пойти на сделку и с собственной совестью.

В очередной приезд землемера к Хурсановым Иван уже сдержать себя не смог: целом так отходил наглеца, что выбил тому глаз, и что-то случилось с хребтиной. Вот и оказался Иван Наумович в тюрьме. Ни за что, ни про что, за правду, за истину и справедливость страдает. Всяк норовит обидеть работного, крестьянского мужика на Руси. Где справедливость?

...Ждали команды «до ветру», потом переключка и отбой. Спать приходилось на полу, подстелив под себя какую-никакую свитку. Охрана на ночь не закрывала снаружи зарешёчен-

ные узкие окна у потолка, и в камеру набивалось несметное количество комаров, превращая и без того тяжкий сон арестантов в кошмар.

На этот раз Петря содрал тряпки с нар, кинул у стены, где ложились отдыхать Тит с бородастым мужиком.

– Не बारे, – только и кинул в недоумении застывшим с открытыми ртами уголовникам.

– Как, говоришь, твоя фамилия? – обратился Петря к Титу, когда уже улеглись у стены на тряпки.

– Гулевичи мы.

– А Фёдор Гулевич кем тебе доводится?

Тит приподнялся на локтях, повернулся к Петре.

– Откуда знаешь?

– Знаю, раз спрашиваю. Где он? Как?

– Помер Федька. В шестом году ещё умер от ран в Санкт-Петербурге в Николаевском госпитале. Старший брат это мой, – выдохнул из себя парень.

– Та-а-а-ак, – протянул Петря. – Та-а-а-ак. Командиры стрелковых рот долго не живут. А уж взводные и того меньше. Не смог, значит, Фёдор сломать недобрую традицию. Продолжил. Вон оно как, а я-то, дурак... и-э-эх!

Глава третья

По узкой каменистой дороге, что петляет среди серых, мрачных сопок в предгорьях Большого Хингана, с трудом пробирается среди каменистых россыпей одноконный тарантас на рессорах, гремя колёсами с металлическими ободьями, запряжённый коренастой монгольской лошадкой гнедой масти. На козлах, согнувшись и вобрав голову в плечи, правит конём солдат в шинели с винтовкой за плечами. В самом тарантасе, в плетёном кузове, откинувшись на спинку сиденья, уцепившись в поручни, безучастно взирает на скудную природу Манчжурии молодой – не более двадцати пяти лет – поручик. Золотые погоны с красными просветом и окантовкой, тремя звёздочками на каждом были слегка помяты и топорщились на плечах, френч небрежно растёгнут на две верхние пуговицы, форменная фуражка давно свалилась и покоилась на полу тарантаса у запыленных сапог, обнажив слегка заросшую шевелюру. Ремни португепи расслабленно свисали на форменной одежде. Да и во всём облике молодого человека отсутствовали тот лоск и холёность, что так выгодно отличают штабных офицеров от их строевых коллег.

По обе стороны верхом на таких же монгольских лошадках сонно качали головами два солдата охраны, вооружённые саблями и винтовками. Благо, кони, приученные к каменистым дорогам, не требовали контроля и управления, а брели самостоятельно вслед за тарантасом и всадники могли позволить себе вздремнуть на ходу прямо в седле.

– Слышишь, служивый! – поручик коснулся спины кучера. – Далеко ещё до позиций?

– Ась? – вздрогнул солдат, обернувшись к пассажиру.

– До позиций далеко, спрашиваю? – и тут же передразнил солдата:

– «Ась-нонче-давече-кадысь». Эх, лапоть тамбовский! С тобой не соскучишься.

– Мы не тамбовские, – обиделся кучер. – Вяцкие мы.

– Так это не тебе matka смятану в мяшке приносила?

– Нет, – улыбнулся солдат. – У нас так не говорят, а по-другому: «Питро, бири видро, тини тилушку на писки». Во как, вашбродие.

– Ну-ну. Знать теперь буду. Так всё же, когда приедем, браток?

– Да версты две с гаком осталось. Во-о-он, – солдат ткнул кнутом куда-то вперёд по ходу лошади, – за той острой горой, что по левую руку, а уж за ней и вправо дорога будет. Там как раз пост наш сторожевой стоит. А уж от него откроются деревни Мугуйка, а потом и Сандяйка. Вот мы чуть-чуть дальше будем, между ни ... – договорить не успел: неожиданно раздался одиночный выстрел, и возница свалился на руки поручику, изо рта солдата тоненькой струйкой побежала кровь.

– Засада! К бою! – ухватив вожжи, офицер резко повернул коня в сторону за грядой высоких камней-валунов, что тянулись слева от дороги.

Вслед неслись винтовочные выстрелы, пули то и дело свистели над головой, цокали о камни, рикошетили, жутко жужжа.

Один из солдат охраны замешкался и тут же вывалился из седла; лошадь, взбрыкнув, ускакала куда-то вверх по склону сопки, однако потом вернулась обратно к сородичам.

Сейчас раненый лежал на открытой местности у дороги в полусотне саженой от сослуживцев, пытался ползти к товарищам, его голова то поднималась и тут же в бессилии падала на камни. Силы покидали несчастного. Ещё через минуту-другую уткнувшись лицом в землю, застыл неподвижно.

Другой солдат успел спешиться и теперь находился рядом с офицером за соседним валуном.

– Твою мать! – тихо матерился поручик, с опаской выглядывая из-за укрытия, пытаясь определить – откуда стреляют. В руках держал винтовку погибшего кучера.

– Замри! Замри и не двигайся! – прокричал раненому солдату. – Береги силы, браток! Даст Бог, выручим!

Пуля, ударившись в гранитный бок камня, обожгла мелкими крошками лицо, рикошетом прожужжала рядом.

– Эт-т-того ещё не хватало, – провёл рукой по щеке: ладонь тут же окрасилась кровью. – Ого! – и снова заругался:

– Ах, ты, микадушка косорылая. Вот вляпались, твою японскую императрицу по матушке и по батюшке, и по всем детородным органам гробинушку мать вместе с вашей страной.

Боец из охраны жался к валуну, с надеждой смотрел на командира.

Раненый затих, как и затихли выстрелы. Офицер ещё с минуту сидел, спрятавшись за камни, потом жестом потребовал у солдата шапку.

Нацепив головной убор на ствол винтовки, высунул его из-за укрытия. В тот же миг раздалась выстрелы, шапка упала к ногам командира.

– Плохо дело, – сделал вывод поручик, смачно плюнув в сторону врага. – Метко стреляют, гады. Это они умеют. Вот же япошки поганые. Нет, чтоб в открытом бою, так они из засады норовят русского человека на тот свет спровадить, твою мать. Что предлагаешь, служивый? – обратился к товарищу, который стоя на коленях, прятался за соседним камнем, то и дело осеня себя крестным знаменем.

– Не знаю, вашбродь, – обреченно произнёс солдат, в очередной раз истово перекрестившись. – Вы – офицер, командир, человек грамотный, не нам чета, вам виднее. По мне – конец нам приходит, вашбродь, вот как, – тут же зашептав молитву: – Господи! Спаси и сохрани, Матерь Божья... Царица Небесная, заступница наша... святой Николай Угодник, покровитель... того... этого воинства, помоги Христа ради... прими, Господи, если что... а я уж... живота... своего... это... того... аминь!

Кони стояли за камнями чуть ниже по склону, понурились, отдыхали. Казалось, выстрелы их совершенно не волнуют и не беспокоят.

То, что стреляют с противоположной сопки, покрытой редкими хвойными деревьями, сомнений не вызывало. Но откуда именно? Долго такое положение сохранятся не может. Японцы не для того устроили засаду, чтобы всё обошлось.

– Слушай приказ, – поручик переметнулся за валун к солдату, и сейчас втолковывал подчинённому свой план. – Ты останешься здесь. Я постараюсь скрытно перебраться в другое место. Ты по моей команде будешь вызывать огонь на себя...

– На смерть обрекаете? – с дрожью в голосе спросил солдат.

– Ну и дурак же ты, братец, – офицер в отчаяние стукнул ладошкой по камню. – Ты до конца дослушай, заячья твоя душа, а потом и помирать собирайся.

– А я что... я ничто, – стал оправдываться солдат. – Как прикажете, вашбродие. Можно и умереть, если что... Нам не привыкать... если надо. Прими, Господи... – снова наладился читать молитву, но его перебил офицер:

– Нет, ты живи, служивый, и прекрати петь зауспокойную! И я жить хочу, поэтому, слушай приказ.

Ещё через некоторое время поручик уже лежал между двух валунов далеко в стороне от первого укрытия, сквозь ветки можжевельника внимательно всматривался в сопку напротив. Винтовка с досланным в патронник патроном покоилась рядом, под рукой, готовая к бою.

Лёгкий дымок от выстрела был еле заметен на фоне мелкого хвойника, но этого было достаточно, чтобы всё внимание офицера сконцентрировать на месте стрельбы. В следующий раз он уже чётко увидел мелькнувший силуэт человека, а потом и самого стрелка. Ещё через три выстрела к первому стрелку присоединились два его товарища. Поручик заставил себя некоторое время наблюдать безучастно, чтобы убедиться наверняка. Удостоверившись, что вражеских стрелков трое, и только после этого прицелился.

Первый же выстрел достиг цели: труп японского солдата скатился по склону и замер, зацепившись за одинокую сосёнку. В тот же миг офицер сменил позицию, перебравшись ближе к своему солдату.

Уже из нового места он заметил, как к погибшему японцу ползком пробирается его товарищ. И снова одиночный винтовочный выстрел хлётко разорвал тишину. Однако на этот раз японец успел-таки, укрылся за камнями, по офицеру тут же открыли ответный огонь. К глухим выстрелам со стороны противника добавились резкие, хлёткие выстрелы русской винтовки: это солдат самостоятельно решил проявить инициативу и поддержать огнём командира.

– Молодец, братец, – поручик кинул мимолетный благодарный взгляд в сторону товарища. – Как раз вовремя. Ну, теперь силы у нас равны. Это меняет дело.

Он вдруг появился из-за укрытия и, на виду у японцев, сделал несколько шагов вниз по склону. Тут же заговорили винтовки противника; взмахнув руками, офицер упал, а затем и покатился безжизненно вниз, увлекая за собой камни.

Оба японских солдата начали короткими перебежками приближаться к позиции русских, откуда, оставшийся в одиночестве, боец продолжал вести огонь по врагу.

Японцы вышли на открытое пространство, укрывались за небольшими камнями, уже почти приблизились к раненому вначале боя русскому солдату, который всё так же лежал у дороги, как тут же откуда-то сбоку ударила винтовка противника. Тот японец, который был ближе к стрелявшему, замертво упал на каменистую почву, его товарищ кинулся обратно в спасительные хвойные заросли. Не успел: привстав из-за валуна, русский солдат, как на стрельбище, поразил цель с первого выстрела.

Когда к убитому кучеру добавился и раненый впервые минуты боя служивый, и они оба уже лежали в тарантасе, а лошади снова были выведены на дорогу, день перевалил на вторую половину, блеклое солнце пошло к вечеру. То нервное напряжение, что держала военных всё это время, спадало, на смену ему приходили расслабленность, некая пустота в теле, усталость.

– Перевяжи-ка меня, братец, – поручик прислонился к тарантасу, снял френч, закатал рукав исподней рубашки.

Пуля прошла чуть ниже локтя левой руки сквозь мякоть, не задев кости, однако вся рука была в крови, начала неметь, не говоря о боли, которую стоически переносил поручик.

– Там в бауле бинт лежит, – офицер остановил солдата, видя, что тот пытается оторвать кусок своей исподней рубашки.

– Вы меня извиняйте, вашбродие, что я вроде как спужался вначале, стушевался.

– Чего уж. Только дурак не боится смерти. Впервые с япошкой столкнулся?

– Ага. Как-то Бог миловал. До этого при коменданте состоял в Ляоляне, если что, господин поручик. Уснул на посту, вот меня сюда и направили.

– Понятно. Штрафник, значит.

– Ага, проштрафился. Как же без этого на службе-то? Чай, живые люди солдаты.

– А я из госпиталя. Только оклемался от одного ранения, так, видишь, опять. Как проклятие преследует меня. Спасибо, не на смерть, – доверительно поведал офицер.

– Спасибо и вам, вашбродь.

– Это ещё за что?

– Что зла не помните, вот за что, – дрогнувшим голосом произнёс солдат, в очередной раз перекрестившись. – Господа... это... не всегда прощают нижним чинам слабинку.

– В бою, братец, нет господ и нижних чинов, – назидательно заметил поручик. – В бою есть товарищи, сослуживцы. Так что... Ты за меня свою грудь подставил под пули, я – за тебя. Вот и выиграла сражение. А ты ничего, боец, не дрогнул.

– Спасибо, вашбродь! – широко улыбнувшись, солдат занял место кучера в тарантасе. – Меня ещё никто так не хвалил, – добавил уже из козел. – А стрелять по япошкам стал потому, что я на них разозлился, вашбродие, вот как. Думаю, это с чего, с какого перепугу я должен,

за здорово живёшь, свою жизнь по камням разбрасывать? Вот и припал к винтовке, а как же. Ждать, пока тебя на тот свет отправят? Нет уж! И мы... это... с усами. Бывало, в деревне в драках я спуска не давал, а тут... Что я – лысый, что ли? И вообще: когда это русский солдат того... этого? Да и вас поддержать, товарища, значит. А как же.

Офицер закинул себя в седло.

– Трогай, герой.

В расположение роты, которая занимала позиции в версте от деревеньки Мугую, и была выдвинута в сторону противника уступом вправо на протяжении всей линии обороны, прибыли уже к вечеру.

Дозор встретил их ещё на подступах к окопам, отвели на ротный командный пункт.

– Раненого бойца отправьте в санитарный пункт, – распорядился офицер. – И приберите погибшего солдата.

– Слушаюсь, вашбродие, – лихо козырнул старший дозора.

В командирском блиндаже навстречу поручику вышел высокий светловолосый, голубоглазый офицер с перебинтованной головой.

– Подпоручик Фёдор Иванович Гулевич, командир первого взвода второй стрелковой роты, – представился он гостю. – Временно исполняю обязанности командира роты. Позвольте узнать: с кем имею честь беседовать?

Прибывший поручик достал из нагрудного кармана казённую бумагу, подал взводному.

– Пётр Сергеевич Труханов. Назначен к вам командиром роты. Как япошки? Шалят?

– О-о! Я вас давно жду, господин поручик, – приветливая улыбка застыла на загоревшем, обветренном лице. – А японцы всё укрепляют свои позиции. Однако и накапливают силы для наступления. Сегодня пополудни батальонный командир господин капитан Павел Степанович Лазарев доводит диспозицию, то есть приказ на предстоящий бой. Говорил, что, по данным разведки, япошки замышляют наступление. Вот только когда? Дело времени, господин поручик.

– Зови меня Пётр Сергеевич или просто Петя. Ведь мы, наверное, почти ровесники. Не так ли?

– Мне двадцать пять уже исполнилось.

– А мне – двадцать четыре. Старики мы, – гость обвёл глазами блиндаж, устало опустился на край кровати, что стояла в углу.

– Моя?

– Да, Пётр Сергеевич.

– Кто спал до меня?

– Ваш тёзка Пётр Николаевич Семакин. Капитан. Убит две недели назад при рекогносцировке, – доложил взводный. – Может, чаю? Или поужинаете с дороги?

– Будь добр, Фёдор Иванович, – гость жестом отказался от угощений, – служивого, что прибыл со мной и правил конём, приставь, пожалуйста, ко мне в денщики.

– Простите, у командира роты уже есть штатный...

Но ему не дал договорить поручик:

– В бою ведёт себя достойно. Я полагаюсь на него. Это мой приказ.

– Всё исполню, Пётр Сергеевич. Не волнуйтесь.

– Представишь меня личному составу завтра на побудке. Тогда же доложишь и обстановку, пройдем по позициям. И надо предстать пред очи батальонного начальства.

– Хорошо. Будет исполнено.

Когда в командирский блиндаж прибыл вызванный подпоручиком ротный фельдшер, поручик Труханов Пётр Сергеевич спал, раскинув руки, тихонько посапывая во сне.

Вторая стрелковая пулемётная рота находилась на правом фланге первого пехотного полка семнадцатой Сибирской стрелковой дивизии, на стыке с Барнаульским двенадцатым

Сибирским стрелковым полком, прикрывали подступы к деревням Мугую и Сандяю. Русские солдаты переименовали названия населённых пунктов под себя и называли их не иначе как Сандяйка и Мугуйка.

На позиции роты выдвинулись после завтрака. Труханова сопровождал подпоручик Гулевич. За офицерами, помимо ординарца командира роты, неотступно следовал новый денщик рядовой Коштур.

– Ты-то куда, братец? – заметив денщика, поручик остановился, подозвал к себе солдата. – Твоя задача – быть при командире в быту, а не в бою. В бою есть вестовой, – указав рукой на ординарца, который вышагивал чуть в отдалении.

– Извиняйте, вашбродие, – солдат приосанился, поправил винтовку на плече. – Отныне я за вас в ответе везде: и в командирском блиндаже, и в бою. Вот как.

– Это кто ж так решил?

– Я! – солдат застыл перед командирами с непроницаемым выражением лица.

– Ну-ну, – Гулевич лишь махнул рукой. – У нас говорят: «Глупая голова ногам покоя не даёт». Пусть идёт.

Передовая линия обороны роты, извиваясь, проходила по склонам двух сопок, клиньями на флангах уходила в сторону врага, что позволяло в случае необходимости вести перекрёстный огонь, и, в то же время, обеспечивая огневую поддержку соседям на флангах.

Огневые позиции пулемётных расчётов были выбраны очень удачно и оборудованы со знанием дела. Каждый пулемётчик хорошо знал свой сектор обстрела, рубеж открытия огня; его второй номер всегда имел под рукой четыре снаряжённые ленты, готовые к бою. Это не считая ещё одной, уже заправленной в «максим» и заботливо прикрытой старой шинелью. Подносчики боеприпасов тоже знали свое дело. В самих окопах сделаны глубокие ниши, в которых лежала запасная коробка с патронами для пулемёта, личные вещи расчёта.

Для ближнего боя первый номер имел наган; второй – винтовку.

В тех местах, где окоп вырыть не представлялось возможным из-за каменистого грунта, были оборудованы удобные и надёжные обвалования из камней-валунов, плотно подогнанных друг к другу. Для большей надёжности обвалования сделаны широкими и высокими. И полукругом, для защиты от флангового огня противника.

– Добро, – не преминул заметить Пётр Сергеевич, визуально оценивая степень надёжности сооружения. – Добро, молодцы!

– Так что, господин поручик, командир пулемётного расчёта ефрейтор Жарков. Тобольские мы, если что, – вытянулся во фронт боец, находившийся здесь же за пулемётом. – Так что, господин поручик, добра этого завались, – и повёл рукой в сторону, где россыпью валялись разных размеров камни-валуны. – Хоть огневую позицию оборудуй, хоть крепость строй.

– Вижу, вижу, – Труханов посчитал своим долгом отметить солдатское рвение бойца. – Молодец, братец! – и, к удивлению свидетелей этой сцены, с чувством пожал руку пулемётчику. – Благодарю за службу, ефрейтор!

– Рад стараться, вашбродие! – гаркнул счастливый боец.

– Ну-ну. Продолжай нести службу, – похлопав по плечу солдата, Труханов с сопровождающими отправился дальше.

Японские позиции были чуть ниже в долине и хорошо просматривались с передовой линии роты.

Посетили и соседей: зашли в блиндаж к командиру роты Барнаульского полка, Фёдор Иванович представил Петру Сергеевичу хозяина блиндажа капитана Евгения Николаевича Семочкина. Попили чаю, побеседовали. Возвращались к себе в командирский блиндаж уже на исходе дня.

Офицеры шли впереди, солдаты – чуть поодаль, отстали.

– Кто организовывал оборону роты? – поинтересовался Труханов.

– Я, – Гулевич подобрался в ожидании упрёков или замечаний. – Мы эти позиции заняли третьего дня, ещё многое не сделали, предстоит сделать в ближайшее время.

– Похвально. Успеть за столь короткий срок... Позиции выбраны на местности очень грамотно, линия обороны хорошо оборудована. Мне вносить какие-то коррективы нет нужды. Спасибо, Фёдор Иванович, – командир роты с чувством пожал руку подчинённому. – Молодец! Буду ходатайствовать о награждении. Ты уже вырос из шинели взводного, пора и принимать роту, дорогой товарищ подпоручик.

– Спасибо, господин поручик. Не скрою: я приятно удивлён и польщён столь лестной оценкой моей деятельности.

– Не скромничай, Фёдор Иванович, и обращайся ко мне по имени-отчеству или просто по имени. Я же просил тебя об этом.

Вой первого снаряда они услышали, успели упасть, укрывшись в неглубоком овражке.

Артиллерийский обстрел продолжался долго, японцы стреляли по площадям. Сейчас они перенесли стрельбу левее позиций пулёмётной роты на укреплённые рубежи Барнаульского стрелкового полка. Офицеры уже уверовали, что артоналёт закончился для них, покинули укрытие, направились обратно на ротные позиции: стоило проверить, в каком состоянии они после артиллерийской атаки противника. Этого, последнего шального снаряда никто не услышал.

От сильного удара в спину Гулевич и Труханов упали, сверху на них свалился, прикрыв обоих, новый денщик командира роты рядовой Коштур. Они ещё ничего не успели сообразить, как в это мгновение прогремел взрыв.

Японский снаряд, разорвавшийся чуть позади, отбросил тело вестового куда-то вперёд, обогнав командиров.

Оглушённые взрывом, осыпанные землёй, офицеры ещё некоторое время лежали, приходили в чувство. Сверху на них давило тело денщика: изрепёчённое осколками, оно не подавало признаков жизни.

Первым пришёл в себя поручик. Выбрался из-под погибшего солдата, стряхнул землю, принялся осматриваться. Сильная боль в районе стопы выворачивала правую ногу, мутила сознание. Рядом шевелился подпоручик Гулевич. По полю к ним бежали солдаты.

Командира роты доставили на санитарный пункт батальона на носилках. Там же батальонные медики оказали первую помощь раненому, подготовили к отправке в госпиталь.

Проводить товарища пришёл и подпоручик Гулевич.

– Не судьба, – поручик Труханов лежал в санитарной повозке, слабо улыбался. – Если бы не самоуправство рядового Коштур, то не жить нам обоим. Вот они какие, русские солдатки, братец. Цены им нет.

– Да, вы правы. Только жаль, что гибнут первыми вот такие бойцы. Но вы не расстраивайтесь, Пётр Сергеевич, – подпоручик Гулевич стоял рядом с командиром, пытался вдохнуть в раненого товарища хоть маленькую толику оптимизма. – Это война. Чего ж мы хотели, чтобы на ней раздавали пасхальных петушков? Страшно, конечно. Но мы – солдаты. Нам ли жаловаться на судьбу? Выжил в очередном бою – и слава Богу. Вот и с вами, Пётр Сергеевич: отдохнёте от войны. Сколько можно испытывать судьбу? Пора подумать и об отдыхе. Правда, признаюсь честно: мне вас будет не хватать. Но я тешу себя мыслью, что мы с вами обязательно когда-то встретимся. Так что езжайте с чистой душой, лечитесь, восстанавливайте здоровье и чаще вспоминайте нас.

– Такое не забывается, Фёдор Иванович. Обязательно буду вспоминать, молиться за вас стану.

– Да-да, вы правы. Только не расстраивайтесь, ведь на войне предсказать судьбу невозможно. Считайте, что вам повезло.

– Это правда, что повезло. Хорошо, что я оставляю вас не так, как мой предшественник и тёзка покинул роту, – зло пошутил поручик. – И в прошлый раз меня ранило в первом же бою. Потом вчера, когда ехал в подразделение. И вот сейчас... Странное везение. Видно, не суждено мне переломить ход военной кампании.

– За солдатика не волнуйтесь. Отпишу командованию, представлю к награде. Должно государство взять на себя расходы о пожизненной материальной поддержке родителей такого героя.

– Хорошо бы.

– Куда после госпиталя намерены податься, Пётр Сергеевич?

– Домой, на Смоленщину. Там у нас семейное гнёздышко – именице небольшое на берегу Днепра. Красотища-а-а! Матушка управляет. Сестра младшенькая Катенька при ней. О своих дамах заботиться стану, может и свою даму сердца встречу. Пора уже обзаводиться семьёй, дорогой Федор. То училище, то отдалённые гарнизоны, куда даже Макар телят не гоняет, то война. Вот и не попадалась мне навстречу та, ради которой дрогнуло бы моё зачерствевшее солдатское сердце, чаще опалённое огнём, пропахшее порохом, чем любовной страстью. Так что... на Смоленщину я, домой, в родные пенаты.

– И я ведь родом из тех краёв, – подпоручик с сожалением развёл руками. – Не удалось нам побеседовать, вспомнить наши места. Давно уж не был в родной Горевке. Деревенька есть такая на берегу речушки Волчихи.

– Слышал, слышал и о речке, и деревенька на слуху была когда-то. Вот побывать не довелось.

– При случае обязательно посетите. Найдёте моих, поклон от меня передадите.

– А лучше сам приезжай ко мне в именице в гости, Федор. Познакомлю с сестричкой Катюшей. Милейшее, я тебе скажу, созданыце! А уж умница-а-а... Она тебе обязательно понравится. О природе не говорю: даст фору любой за границе.

– Спасибо, Пётр! Премного это... обязательно заеду! Вот япошкам рога пообломаем, и... Батальонное начальство обещало отпустить на побывку при удобном случае. Второй год, как не был в Горевке, всё окопы да окопы...

Но и здесь им не дали договорить, хорошо и душевно проститься: поступила команда трогать.

Обоз из шести санитарных повозок и усиленного отделения охраны в количестве десяти верховых солдат на лошадях уходил в сторону Ляоляна в военный госпиталь. Возницы и медицинский персонал сопровождения тоже были вооружены винтовками: японцы частенько нападали на обозы и конвои, переодевшись под местных жителей.

– Вы мне пишите, Пётр Сергеевич! – Фёдор Иванович ещё прошёл немного с повозкой, проводил товарища.

– Пусть сопутствует тебе удача, Федя! Да хранит тебя Господь, – махнул рукой на прощание поручик, сотворив крестное знамение. – Хороший из тебя командир роты вышел. Да только должности ротного и взводного в пехоте не более двух-трёх боёв заполнены согласно штатному расписанию, в остальном – пустуют. Вот и я тому подтверждение. А ты, Фёдор Иванович, сломай злую и страшную традицию – живи назло всем врагам Руси нашей.

...Ровно месяц и одну неделю находился в военном госпитале в Ляоляне поручик. Здесь же его застал приказ о присвоении ему воинского звания капитан и награждении Петра Сергеевича Труханова золотым крестом святого Георгия четвёртой степени «за службу и храбрость», как было сказано в сопроводительном документе.

Японцы наступали, и госпиталь пришлось срочно эвакуировать. Ещё несколько суток всех раненых обозами вывозили до первой железнодорожной станции. Легкораненых, тех, кто ещё мог быть возвращён в строй после лечения, отправили во Владивосток, а капитан Труханов попал в команду комиссованных по ранению и непригодных к воинской службе. Этим

выдали расчёт, документы и проводили вглубь России, позволив каждому из них определяться в дальнейшей судьбе самостоятельно.

Петра Сергеевича отправили санитарным составом, как офицера. Помимо прочего, ему ещё необходима была медицинская помощь. Срезанная осколком снаряда по самую шиколотку пятка правой ноги плохо заживала, гноилась. И после выздоровления капитану потребуется особая обувь или протез. По словам лечащего военврача и постоянного компаньона Петра Сергеевича по игре в карты Юрия Степановича Солодова, в Москве есть отличный мастер по изготовлению такой обуви милейший человек Иосиф Зиновьевич Клейнерман. Он содержит мастерскую прямо у себя во дворе в пристройке. Нанятые рабочие – высочайшего класса мастера.

– Сделают тебе сапожки, дорогой Петря (доктору нравилось обращаться к друзьям чаще всего панибратски, иногда по-простолюдински, вот и Петра Сергеевича он называл – Петря), и цыганочку с выходом в «Яру» ты будешь выплясывать лучше любого московского артиста или местных гражданских прощелыг. Я тебе говорю. Так что, записывай адрес спасителя, капитан. Век благодарен будешь.

– Увольте, милейший Юрий Степанович, у меня на руках бумага в Екатеринбургский госпиталь, – Труханов устало отмахнулся от товарища. – Я что, не понимаю? Прекрасно осознаю, доктор, что я – инвалид! И не спорьте, – видя, что напарник поднял руки в знак несогласия, капитан пресек этот жест в самом начале. – Полноте, о какой Москве вы говорите? Участь нашего брата – погибать в бою. В лучшем случае – лечиться в заштатных лечебницах на просторах империи. Москва и Питер – для избранных.

Поезд увозил раненых подальше от войны; вагон мотало на рельсах; воняло карболкой и ещё чем-то, чем только может вонять в санитарных вагонах.

В последнем письме из дома, которое получил перед эвакуацией госпиталя, матушка писала, что приходили судебные приставы, описали за долги всё имущество в имении Трухановых, включая и само поместье с пристройками для прислуги, конюшни, амбары, каретную. Если она не найдёт должную сумму, всё отнимут и выставят на торги. Говорила, что обращалась в уездное дворянское собрание. Там лишь развели руками: свободных денег не было и не будет. Военные заказы в последнее время оплачиваются не регулярно, расцвело казнокрадство, а армию голодной не оставишь. Бюджет уезда еле-еле сводит концы с концами. Так что...

Обратилась и к губернатору – ездила на приём к нему. Даже не записали в канцелярии. Сказали, что сам убыл поправлять здоровье на Кавказ, а кроме губернатора никто с этим делом связываться не хочет. Да другие и не уполномочены решать проблему личной несостоятельности некоторых нерадивых дворян.

Нет, маменьке не отказали. Хуже. Её выставили за дверь, как чернь. С ней обращались не как со столбовою дворянкой, а как с жалкой нищенкой, подавать милостыню которой – личная воля каждого. И увещевания, что не одно поколение Трухановых положили жизни во славу Отечества, и ссылки на то, что единственный сын сейчас на фронте, участвует в русско-японской кампании, защищает честь России с оружием в руках, каждый день рискуя собственной жизнью, должного результата не возымели. По словам маменьки, губернским чиновникам совершенно безразличны честь и достоинство, душевные терзания какой-то ничтожной сорокапятилетней матери-дворянки и четырнадцатилетней девчонки – её дочери. А то, что сын на фронте? Россия, слава Богу, богата на мужиков и патриотов: не будь Петра Сергеевича Труханова, будет кто-то другой. Свято место пусто не бывает. Уж кем-кем, а патриотами да воинами-защитниками Русь не обделена. Так что... обошлись, как с чернью, как с ничтожеством.

С тем и убыла в пока ещё своё имение. Нищей и униженной.

Она не просила денег у сына – это уж Пётр Сергеевич сам читал между строчек. Да и откуда деньги на войне у капитана российской армии? Строевые офицеры не заведуют банками. Они даже своим жизням не являются хозяевами. Какие уж тут могут быть деньги? Жало-

вание? По сравнению с нижними чинами – да. А для своей среды, для своего сословия с их обычаями и порядками – только держать фасон, соответствовать, так сказать, и не более того.

Но что-то предпринимать всё-таки надо. Поговорку о бережливости копейки по отношению к рублю пришлось переосмыслить заново, пропустить сквозь себя, сквозь душу и сердце. И стоит начинать, не откладывая дело в долгий ящик. И хотя потеря статуса и титула столбового дворянина вряд ли измеряется в денежном эквиваленте, однако для восстановления «статус-кво» деньги потребуются. Много денег потребуется.

Так считал капитан Труханов.

Для начала он урезал расходы на себя, даже погоны капитана прикрепил не на новый френч, как того требуют офицерские традиции, а нацепил на старый китель, сменив погоны поручика. И не устраивал попойки в кругу друзей по случаю присвоения очередного воинского звания и награждения золотым крестом: не доставал из кубка, полным вина, капитанские звёздочки и не коснулся губами золотой награды. И всё только из экономии. Понимания среди товарищей по палате не нашёл, да он и не искал его, потому как никому не говорил о своих переживаниях. Сослался на плохое самочувствие. Деньги, что скопил за последние месяцы – жалкие гроши. Ими не покроешь все семейные долги, даже их часть. Значит – прощай родовое гнездо? Прощай дворянство? Сестрёнку – в монастырь, маменьку – в пансионат мадам Мюрель, который существует только на пожертвование графини Тенишевой да ещё подаяний милосердных граждан? И это-то при живом сыне и брате – офицере, капитане российской армии?! Ну, не абсурд ли?!

Нет, Пётр Сергеевич не может позволить такое унижение! На изнанку вывернется, но вернёт всё на круги своя! Он пока ещё не знает, что и как будет делать, откуда возьмутся деньги, но что-то сделает кардинальное, такое... такое... что... уважать себя перестанет, если не вернёт. И к Клейнерману в Москву не поедет: за протез там не только три шкуры сдерут, но и без штанов оставят. Труханов знает о таких мастерах, наслышан. А кости заново не растут, чего уж. Никакой протез не заменит Богом данного куска тела. Да и деньги сейчас нужны как никогда...

Екатеринбург встретил дождём: мелким, противным осенним. На перроне уже стояло несколько крытых санитарных повозок, рядом с возницами томился ожиданием и медицинский персонал. Чуть в стороне неспешно прохаживались несколько важных чинов из канцелярии городского руководства. Ждали.

Труханов лишь позволил при выходе из вагона облокотиться на подавшего руку санитаря, дальше пошёл сам, неуклюже опираясь на костыль. Ещё в Ляоляне просил себе трость. С ней вроде не так смахиваешь на беспомощного человека. Только на слегка раненого и не более того. Беспомощный человек будит у людей жалость и сострадание. Пётр Сергеевич не мог терпеть проявление таких чувств у окружающих к себе. Это его унижало. Всегда считал себя чуть выше людской добродетели: будь то сострадание или обыкновенная жалость. Он сильный! Жалеть надо людей слабых не столь физически, сколь упавших духом. Он пока слаб физически, но он силен духом. Это ранение не смогло сломить его, Петра Сергеевича Труханова, капитана российской армии. У него хватит сил найти своё место в обществе, имея такой физический недостаток, как хромота. Он докажет это всем! И в помощи не нуждается. Разве что подлечить...

Жаль, трость так и не выдали: то ли в наличии не было, то ли по какой иной причине, однако пришлось опираться на костыль.

За ранеными офицерами прислали несколько конных экипажей. Кареты с откидным верхом, на резиновом ходу, с рессорами стояли чуть в отдалении от санитарных повозок. Это постарались городские власти.

К Труханову тут же направилась молодая девушка-санитарка, то и дело робко извиняясь, взяла под руку, помогла дойти до коляски.

– Господин офицер! Мы вас так ждали, так ждали... Но, понимаете, военное время, поезда опаздывают. Вы уж извините, пожалуйста, – она извинялась за опоздание поезда, как будто в том была её вина.

– Что вы, что вы, мы прибыли своевременно. Не раньше, не позже, вы только не волнуйтесь, мадмуазель.

Дни в госпитале Пётр Сергеевич называл для себя тяготиной и никак иначе. Слонялся по госпитальному двору в перерывах между процедурами, а то и выходил за ворота, смотрел на город, на людей. Привыкал к мирной жизни.

Сновали люди; кричали извозчики; свистели постовые – как будто не было, и нет войны на окраине великой империи. И никому нет никакого дела до одиноко прижавшегося к госпитальному забору инвалида, до его ранения, переживаний, тревог и волнений.

Вчера получил от матушки очередное письмо, первое письмо здесь, в госпитале. Письмо не из дома, не из родового имения столбовых дворян Трухановых, а из приюта мадам Мюрель.

Сестричку Катеньку пытался засватать главный виновник семейной трагедии Трухановых управляющий коммерческим банком господин Лисицкий. Он, именно он лично принимал самое активное участие в разорении Трухановых.

Да, обнищали дворяне Трухановы – нет денег, но честь, честь-то дворянскую они не потеряли! А это никакой суммой, никакими золотыми слитками не измерить, не оценить.

Катенька ушла в монастырь, приняла монашескую схиму. Выходить замуж за старика при деньгах не стала. Не стала менять свою честь, свою молодость на унижение. Решила отречься от светской жизни, посвятив себя без остатка служению Богу.

Быть монашенкой – совершенно иной стиль жизни, иные законы, другие приоритеты.

Разве такое будущее прочили семейной любимице?! Нет, конечно – нет! Жаль сестрёнку, о-о-очень жаль! Ведь она не заслужила такой участи у Бога. Ей бы чистой и светлой любви, простого женского счастья, неразрывно связанного с семьёй, с любимым мужем, с детишками. Потому как сама она чиста и светла перед Всевышним.

Но... это её выбор. Её право распоряжаться собственной судьбой.

Вот сейчас Пётр Сергеевич всё пытается представить себя на месте сестры, и всякий раз соглашается с ней, с её выбором. И одновременно стынет кровь в жилах от осознания своего бессилия помочь родному человечку,

Это ж так плюнуть в душу, а затем предлагать руку и сердце?! Нет, не лезет ни в какие ворота. Что это? Простая человеческая глупость или слепая вера в себя как в Бога? В свою непогрешимость? В свою добродетель? А, может, это спланированная акция? Стоп-стоп! Спланированная акция... стоит подумать.

Труханов от такой мысли заволновался вдруг, занервничал, принялся искать, куда бы сесть. Как назло, рядом ничего подходящего не было, лишь в отдалении, под высокой, стройной сосной, что росла вглубь небольшого сквера, стояла скамейка. Пустая. Раненый в тот же момент направился к ней, неуклюже опираясь на костыль.

Он уже готов было сесть, приноравливаясь, чтобы удобней, как вдруг под скамейкой на пожухлой траве увидел кем-то уроненный кожаный мешочек, размером чуть больше мужской ладони, стянутый шёлковой бечевкой. Кожа отливала воронёной сталью, лоснилась.

С трудом нагнувшись, Труханов поднял его. Увесистый, тугой на ошупь, зачаровывал своей тайной.

Раненый заволновался, занервничал, огляделся вокруг: никого. Прослабил шёлковую толстую нить, тайком, украдкой заглянул вовнутрь: сложенные крупные ассигнации, поверх них – тускло сверкнули золотые изделия. Они же, изделия, прощупывались и снизу.

В тот же миг Петр Сергеевич нервно затужил находку, а затем и затолкал мешочек за пазуху, и снова воровато оглянулся вокруг. Сердце усиленно стучало, сотрясая грудную клетку. В голове мгновенно пронеслись взаимоисключающие мысли: имение; деньги; приют

мадам Мюрель; мама; сестра Катенька; монастырь; честь дворянина; честь офицера. И сам мешочек жёг нестерпимым огнём грудь. Именно жёг, а не согревал.

На лбу выступила испарина. Вытерся по-простолоудински полоё больничного халата. Появилась противная дрожь во всём теле, даже больная нога задёргалась вдруг, подпрыгивая. Понимал, что надо уходить: такое везение бывает лишь в сказках. Одновременно понимал, что необходимо остаться, поступить, как полагается поступить добропорядочному дворянину, офицеру...

В нём боролись два человека, и, поразительно! – оба были правы.

– Чего это я сам себя загоняю в угол? – произнёс шёпотом, оглянувшись по сторонам. – Будь, что будет. Как Богу будет угодно, так и будет. Не дано человеку узнать своё будущее, – откинувшись на спинку скамейки, Труханов закрыл глаза.

– Эй, служивый!

От неожиданного окрика Пётр Сергеевич вздрогнул, сделал попытку встать, опершись произвольно на больную ногу, тут же боль пронзила, он ойкнул, и снова откинулся на скамейку. Его госпитальная одежда, лёгкая щетина на небритом лице выдавали обывателю обыкновенного раненого вояку, скрывая офицерское звание.

– Слышишь, служивый, – перед ним стояли два молодых человека в тёмных расстёгнутых сюртуках, с непокрытыми головами. Фуражки оба держали в руках, обмахивались ими, как веерами. Один из них опирался на трость.

– Скажи-ка, братец, – заговорил тот, что выше ростом, с трудом отдышавшись. – Ты давно здесь сидишь?

В первое мгновение Труханов хотел, было, напомнить молодым людям о культуре и правилах поведения, но вдруг осёкся. Пронзила мысль: эти люди чем-то связаны с его находкой. И не ошибся.

– Ась? – мгновенно в памяти всплыл вдруг солдат-кучер, что погиб на перевале Хингана.

– Здесь давно сидишь? – с ноткой нетерпения переспросил молодой человек.

– Здесь? – образ солдата гармонично и непринуждённо встраивался в теперешнее состояние капитана Труханова. – Нет, недавно. Уснуть ишшо не успел, барин. Только-только дремать стал, так вы помешали. Ишшо лишь глаза сомкнул, и вы тут. Какой сон? Как япошки, прости, Господи, исподтишка, покоя нигде нет от вас.

– Откуда ты такой? Зовут-то тебя как? – тот, что поменьше ростом, нервно притопывал на месте, всё время оглядывался, не забывая тростью шевелить опавшую хвою под скамейкой и вокруг сосны.

– Меня? – капитан пальцем ткнул себе в грудь: уже полностью играл роль раненого солдата. – Петря меня зовут, барин. Пет-ря! Вяцкие мы, это что б вы знали. Раненые мы шимозой японской. Вот, – вытянув вперёд больную ногу, рядом поставил костыль. – По самое это... пятку как корова языком...

– Здесь ничего не находил?

– Здесь? Нет, не находил, – для пущей важности стал елозить на скамейке, крутить головой, искать руками вокруг себя, даже привстал. – А что я должен был найти тут, барин? – невинно обратился к высокому молодому человеку.

– А кто до тебя здесь сидел? – опять спросил меньший, не удостоив ответом раненого.

– Кода я давеча шкондылял сюда, парочка здесь сидела: парень и девка. Скажу вам по секрету: ни стыда, ни совести. Сидят, милуются. И это средь бела дня, на виду у людей?! Где стыд? Я спрашиваю: совесть где? Святое совсем потерял люд честной, народ православный. Бога забывать стали. Пока мы там кровушку проливаем, за Русь-матушку это... бьёмся, эти здесь вон что вытворяют! Целуются при честном народе. Как можно? Прости и помилуй мя, Матерь Божья, – истово перекрестился больной.

– Ну-у, завёл шарманку, дярёвня. Где та пара?

– Кака пара?

– Дураком не прикидывайся, служивый, – нервно заметил высокий. – Сам только что утверждал, что сидели здесь парень с девушкой. Ты их знаешь? Встречал раньше?

– Так бы сказали, где те бесстыжие подевались. А то вокруг да около. Я знать их не знаю. И видеть не видел. Впервой это... и вас бы глаза мои не видели.

– Да не бранись ты! Ну, и? И где они?

– Слушайте, раз так хочется, – раненый настраивался на серьёзный разговор, готовился долго и обстоятельно рассказывать о своём ранении; о душевных переживаниях; о чувствах, что одолевали в тот момент. – Мне здесь нравится отдыхать в последнее время. Как только освобожусь в госпитале от лекарей, так сразу сюда бегу. Тишина это, покойно, как на хорошем кладбище или в церкви. Душа отдыхает тут. Обычно никого нет на лавке под деревом. Благодарь Господня, во как: сиди, отдыхай, а то и вздремнуть можно защитнику это... чисто рай для меня. Да-а-а. А тут смотрю, сидят, как голубки. Ну, сидели бы, ворковали бы, пусть. Простительно, коль дело молодое. Но лобызаться?! Средь бела дня? На виду у честного народа?! Обняли один другого, как склеились. Трутся друг о дружку, что караси в грязи. Тьфу, прости господи! Ну, я и кашлянул для порядка. Мы же всё-таки культуре как-никак это... обучены были в нашей пулемётной роте. Ротный поручик это... втолковывал, наказывал даже, под ружьё ставил. Пришлось кашлянуть мне, потому как культурные мы. Так они как сорвались отседова и убёгли. Вот я на радостях-то и по привычке вздремнуть решил. А тут вас нечистая принесла, прости господи, не ко времени и не к месту будет упомянуто, – и снова осенил лоб крестным знаменем.

Труханов удобней пристроился на скамейке, лучше запахнулся, ёрзал, выбирал положение для больной ноги, пытаясь вызвать чувство сострадания, или, в крайнем случае, хотя бы понимание. Но и не переставал возмущаться:

– Ходют тут, ходют... то милуются средь бела дня, прости господи. То вопросы глупые задают. Умному человеку и невдомек больного, раненого солдата обижать, тревожить за зря, а эти... Никаких понятий об культуре. Нет на вас нашего ротного командира. Обучил бы в один момент. А так покоя от вас нет нигде. А говорили, что, мол, отдохнёшь, солдат, в госпитале. Ты, мол, защитник... этого... Отечества родного. А им, защитникам Руси, мол, почёт и уважение. Как бы ни так. Отдохнёшь с вами, ага, я так и поверил. Там, на фронте, япошки косорылые не давали покоя, всё пытались отправить на тот свет; здесь – свой брат православный в душу норовит залезть с грязными лаптями, наследить там. Тьфу! – и снова осенил себя.

– Ну-ну, служивый. Не бранись, – примирительно заметил высокий. – Не ворчи. Спи. Поправляйся. Такие вояки, как ты, нужны России, очень нужны. Война-то не закончилась, – хохотнув, похлопал по плечу раненого. – В окопы, братец, в окопы! Там твоё место.

Молодые люди уходили скорым шагом, что-то оживлённо обсуждая, размахивая руками.

Пётр Сергеевич ещё некоторое время посидел на скамейке, соображая, привыкая к новому внутреннему состоянию себя, как другого человека, доселе не бывшего в ипостаси лгуна и вора; к новой мысли, что никому он рассказывать о своей находке не станет.

Да, это противоречит не только дворянской и офицерской чести, но и христианской морали. Всё это он прекрасно понимает, однако, это так. Вот он – выбор! Вот так дилемма! Голова кругом.

«Чёрт побери! В конце концов, нормальный человек не носит при себе такое богатство. Тут дело нечистое», – то ли оправдывал себя за столь неблагоприятный поступок, то ли утверждал свершившийся факт. Но был внутренне рад такому развитию событий.

«Значит, Господь услышал мои молитвы, раз снизошёл с находкой», – и всякий раз перед глазами маячили мама с сестрой, имение столбовых дворян Трухановых, парящее в лучах заходящего солнца.

– К чёрту совесть! – выдохнул из себя капитан. – Думать о будущем надо, а не засорять мозги высокопарными принципами. Я что, дурак, отказываться от таких деньжищ? Хотел бы я посмотреть на себя – праведника голоштанного, прости, Господи. С нами поступают по совести? Как бы ни так...

Уходил из сквера уверенный в правоте своих действий. И страсть как хотелось пере считать деньги в найденном кожаном мешочке. Только бы сумма оказалась подходящей. Уж тогда у него точно появится возможность вернуть всё «на круги своя». В первую очередь маму забрать из приюта мадам Мюрель; сестру – из монастыря. Если не удастся выкупить родовое имение (вдруг не хватит денег), то можно снять комнаты в Смоленске на первое время. А там... а там, как Бог даст. Но это уже будут шаги вперёд, в будущее, к восстановлению доброго имени семьи столбовых дворян Трухановых.

Да, о спланированной акции банкира Лисицкого... падлец ещё тот. За ним не заржавеет совершить подлое дело. Впрочем, и вся его жизнь – сплошная подлость.

Пётр Сергеевич знал этого человека очень хорошо.

Больной не спешил в госпиталь к людям, стараясь остаться наедине с собой, воскрешал в памяти прошлое. Оно в последнее время не давало покоя капитану, терзало душу больше, большее, чем рана физическая. В последнее время неприятности словно ждали своего часа, чтобы обрушиться на род столбовых дворян.

... Управляющий банком Михаил Ананьевич Лисицкий когда-то при жизни отца был другом семьи Трухановых. Сейчас слыл не только богатым человеком, но и завидным женихом. Три года назад безвременно скончалась его жена – тихая и неприметная Лариса Максимовна. Муж горевал и строго соблюдал положенные церковью и нормами приличия светского общества для его статуса вдовца сроки. Но, ни дня лишнего, ни единого! Видимо, решил, что мёртвым – мёртвое, а живым надо думать о жизни. Вот он и думал. Практичный.

Спустя ровно год после смерти жены зачастил банкир в имение Трухановых. Вдруг проснулась любовь к природе по его словам; восхищался чудесной красотой, что открывалась в округе замка.

– Как я вам завидую: живёте в таком прекрасном месте, вдали от людей, от суеты. Здесь и умирать в благодать, а не только жить.

Впрочем, так оно и есть: красиво! Нет, не то слово. Изумительно! Именно это определение, по мнению Петра Сергеевича, соответствует истинной оценке красоты и привлекательности местности. Он, потомок и наследник рода Трухановых, обожает и обожествляет родовое гнездо. За свою недолгую жизнь ему довелось побывать во многих имениях, других богатых домах. Да, красиво. Хотя... в большей степени вычурно, а, зачастую, и аляповато, с видимым безвкусием выставляли люди своё богатство на всеобщее обозрение, кичась показной роскошью, пряча под показушным, помпезным оформлением жилищ свои тщеславие, убогость и скудоумие.

Совершенно не то у них, в имении Трухановых. Несколько столетий оно доводилось до архитектурного совершенства многими поколениями обитателей, где каждый из них вносил свою, выстраданную и обогретую душой эстетическую частичку в оформление, предвзительно посоветовавшись не только с родственниками, но и приглашали знаменитых архитекторов. Ничего лишнего, всего в меру, тонко, со вкусом, и, что не маловажно, со смыслом, с глубоким смыслом. Начиная с фамильного герба рода Трухановых над входом и заканчивая домиком для прислуги, конюшнями, каретной. Даже деревни, в которых жили верноподданные помещиков Трухановых, всегда строились и развивались строго по указанию бар. Широкие, чистые улицы, ровные ряды изб, обязательные общинные дома и площадь в центре населённого пункта. Церковь, правда, одна на все деревни, один приход. Так же одна церковно-приходская школа.

Само имение стоит на небольшой округлой горюшке, что поднялась над лесом на берегу Днепра рядом с московским трактом. Окружённое деревьями, построенное итальянскими зодчими ещё во времена царствования Екатерины II, оно парило над окрестностями, выгодно и удачно выставив себя на всеобщее обозрение. Особенно хорошо смотрелось здание со стороны реки вниз по течению на закате дня. Нежная, мягкая белизна мраморных колонн в лучах заходящего солнца приобретала розовые оттенки с еле заметной голубизной. Белокаменные стены издали теряли земную опору, и оттого явственно казалось, будто дом с розовыми колоннами парит в воздухе, не касаясь земли. Чем не чудо? Этакие «сады Семирамиды» на смоленский мотив...

Семейные предания гласят, что французы не смогли взять приступом забаррикадировавшихся вместе с крестьянами господ в имении. Три дня пытались овладеть, не смогли! Бросили, ушли вслед своим войскам дальше на Москву, а имение столбовых дворян Трухановых осталось непокорённым! Мало того, под предводительством барина Андрея Ивановича Труханова был создан вооружённый отряд местных крестьян, который вёл успешную партизанскую войну с захватчиками.

А природа...

На том берегу Днепра открывался чудесный вид. Девственный дремучий лес с редкими проплешинами лугов зачаровывал своим величием и неразгаданными тайнами непроходимых чащ. Он манил к себе, притягивал своей таинственностью, и, одновременно, не в меньшей степени пугал мрачным величием.

Да, есть, есть чем гордиться, есть чем восхищаться. Не только красотой имения, окрестных мест, но и духом, стойкостью местных жителей и владельцев дворца, их трудолюбием, мужеством и героизмом, любовью и преданностью к Родине.

Многие, очень многие знакомые и друзья господ Трухановых страстно завидовали и не менее страстно мечтали иметь в собственности этот изумительный дворец.

Если есть чем любоваться и чему удивляться, есть чем гордиться в родовом поместье столбовых дворян, то вот за пределами имения было не так уж и блестяще.

После смерти хозяина Сергея Сергеевича Труханова как-то незаметно все дела стали приходить в упадок. Дошло до того, что не было денег на дальнейшую учёбу Пети. На семейном совете решили, что он поступит в военное училище. И не потому, что очень уж его тяготело к баталиям или в их роду были династии военных. Нет! Трухановы вставали в строй защитников Отчизны разве что в исключительных случаях: когда ей угрожали враги. Не могли оставаться в стороне безучастными, когда Родине грозила опасность. А в остальных случаях – это вполне мирные, трудолюбивые и порядочные дворяне, вся жизнь и деятельность которых неразрывно связаны с работой на земле, с крестьянством, с хлебопашеством.

А здесь собрались отправить Петю в военное училище по вполне прозаической причине: на казённый кошт! По этой же причине безденежья и сестра Катенька не смогла поехать на учёбу в Санкт-Петербург. Хотя страсть как мечтала поступить в тамошний Институт благородных девиц.

Но, увы!

И долги. Они давили, висели камнем на шее Трухановых. А тут вдруг господин Лисицкий Михаил Ананьевич!

– Милейшая Ирина Аркадьевна! Вы устали, я же вижу. Вам непременно надо отдохнуть за границей!

Разговор происходил в присутствии Петра Сергеевича, мамы, сестры Катеньки в беседке на берегу Днепра за чашкой вечернего чая. Лисицкий был вся галантность.

– Девочке надо показать за границу. Зачем же такую красоту держать в лесу? Гувернантки не смогут привить светские манеры, заменить балы, посещения театров и музеев. Наконец, общение со сверстниками и сверстницами, более полное познание окружающего мира, новых

стран и городов обогатят внутренний мир ребёнка. Пора, пора выводить в свет, к людям. Грешно прятать такую красоту, – а сам плотоядно любовался девчонкой.

– Всё это я прекрасно понимаю, уважаемый Михаил Ананьевич, – устало отмахивалась хозяйка. – Но – деньги! Вы же знаете: где взять деньги? Покойный оставил столько долгов, что я прямо не знаю...

– О чём вы? – искренне удивлялся банкир. – Только согласитесь с поездкой, и деньги у вас будут. Я обещаю. Сергей Сергеевич был моим товарищем. Как не помочь семье своего друга? Обижаете, обижаете меня, хозяйка. О каких деньгах речь идёт? Полноте вам сгущать краски, усложнять жизнь!

– Но ведь их отдавать придётся, – не сдавалась мама. – По-иному не бывает, милейший Михаил Ананьевич. Вы лучше меня знаете. Зачем обманывать друг друга, зачем лукавить?

– Мы – свои люди, Ирина Аркадьевна, неужели я непонятно объясняю, – всё так же продолжал настаивать банкир. – Сво-и-и! Сочтёмся. Нет никакого лукавства. Вы меня обижаете, поверьте. Всё искренне, от чистого сердца. Я ведь не требую никаких процентов, не устанавливаю конкретные сроки. Будут деньги – потом отдадите. Я завтра же пришлю своего человека с бумагами и с требуемой суммой. Условия – самые благоприятные, щадящие, как для своих. Подумайте о себе и о дочери: отдохните. В наше время деньги – не самое главное, поверьте мне. Главное – здоровье, гармония душевная. Я знаю, что говорю. И, наконец, я помогу вам заключить несколько выгодных контрактов на поставку в действующую армию хлеба и фуража. А там – живые деньги, и не маленькие. Вы сможете в корне изменить своё финансовое положение к лучшему. Доверьтесь мне и будьте покойны, милейшая Ирина Аркадьевна. Я вхож и в дворянское собрание, и с самим губернатором на короткой ноге. Это не бахвальство. Это – реалии.

Пётр Сергеевич не присутствовал в тот момент, когда от банкира прибыл человек: отпуск закончился, и поручик Труханов убыл в воинскую часть.

Мама подписала бумаги не читая, не вникая в смысл написанного. Она, наивная, свято верила заверениям Михаила Ананьевича Лисицкого.

Съездила в Ниццу с Катенькой, хорошо отдохнули. Набрались столько впечатлений, что хватит на всю оставшуюся жизнь.

Вот только ровно через год к Трухановым пришли счета из банка, в которых была представлена умопомрачительная цифра.

Оказывается, тогда, подписывая бумаги от банкира на деньги для отдыха за границей, она письменно согласилась взять на себя все долги покойного Сергея Сергеевича – мужа, и изъявила готовность отдать имение столбовых дворян Трухановых в счёт погашения долга. И почему-то долги мужа выросли почти в два раза.

Каким это было ударом для женщины, можно только догадываться. Покой навсегда покинул дом Трухановых.

Правда, Михаил Ананьевич пошёл навстречу: попросил руки Катеньки. В случае материнского согласия, он клятвенно обещал забыть долг, выделить отдельную комнату для Ирины Аркадьевны в некогда родном имении с прислугой, и бесплатное содержание до самой смерти. И Петра Сергеевича будут всегда рады видеть здесь.

Об этом написала мама сыну в Ляолян, где он находился с самого начала военной русско-японской кампании.

И вот сейчас Трухановы лишены всего, всего того, что создавалось веками несколькими поколениями.

Не укладывается в голове.

Но, с другой стороны, по счетам надо платить. А чего ж мы хотели? Жить в долг? С каких это пор посторонние люди должны быть благодетелями для столбовых дворян Трухановых? За какие заслуги? Да, по счетам необходимо платить, это прекрасно осознаёт потомственный

дворянин, капитан российской армии Труханов Пётр Сергеевич. Всё правильно. И надо быть по возможности объективным: он ведь совершенно не знает, куда, зачем, какую именно сумму брал его отец в банке господина Лисицкого. На какой срок? На каких условиях? И если брал, то куда ушла умопомрачительная по теперешним временам предъявленная банкиром сумма? Мама как-то говорила, что Сергей Сергеевич частенько запрягал выездную пару лошадей и уезжал в Смоленск. Один, без кучера, без прислуги. Отсутствовал иногда по нескольку дней. Жену не ставил в известность о цели поездки. Не считал нужным.

Родные склонны были думать, что Сергей Сергеевич погряз в карточных долгах. Уж больно азартным он был.

Так это или нет, никто не знает. Это лишь догадки. А корить покойного – не по-христиански, да и не по-родственному.

Однако, Пётр Сергеевич осознает и понимает, что в любом деле должна присутствовать хотя бы какая-то видимость законности, справедливости, порядочности, если хотите. Уж чего-чего, а справедливости русский человек жаждет, это хорошо знает капитан Труханов. А вот её-то как раз и нет. Банкир самый настоящий мошенник! Что бы вот так, обманом вынудить маму рассчитываться за долги?! Неужели это нельзя было сделать открыто, честно? Не унижая достоинства? Не шантажируя? Так, как поступил Лисицкий – это чистой воды шантаж и неприкрытое мошенничество, хамство с его стороны. Ведь он сам лично навязывал тот последний кредит на поездку за границу женщин. Клялся не торопить события по возврату, и вдруг стал шантажировать. «В тёмную» использовал непросвещенную наивную порядочную женщину, а, по сути, обманул, выдавая очередную сумму. Значит, ему нужны были не деньги, как таковые, а молоденькое тело Катеньки и родовое поместье столбовых дворян Трухановых. Старый пенёк! Шантажом решил взять?! Приписал несуществующий долг? Или банально увеличил сумму? Хотя, кто его знает? И отец приложил руку, оставил семью в незавидном финансовом положении. Это ещё мягко сказано.

Несколько раз Пётр Сергеевич порывался подать рапорт об увольнении с воинской службы. Его личное присутствие в имении если не могло бы спасти трагическое финансовое положение, то хотя бы сгладило остроту момента. Но покинуть русскую армию в тяжкую годину для страны? Не предательство ли это? Не трусость ли это? Как поймут сослуживцы, подчинённые? И поймут ли? Выходит, они будут жертвовать жизнями ради будущего родины, а он пойдёт спасать имение, позабыв о Родине, о России? Что важнее для офицера русской армии? Вот то-то и оно...

Не подал рапорта.

...Тяжёлые осенние тучи напозлали на Екатеринбург. Поднявшийся ветер гонял по улице лёгкий мусор, клочки бумаг, хлопал ставнями окон.

Похолодало.

Ворона, нахохлившись, наблюдала с берёзы у дороги, как стайка воробьёв дралась за кусок хлеба кем-то уроненный на дорогу, пока, наконец, не слетела, ухватила хлеб, скрылась где-то за госпитальными постройками.

Разбрызгивая грязь, мимо прошелестела шинами пролётка. Кучер, привстав на козлах, свистел залихватски, размахивая кнутом.

Пётр Сергеевич подходя к воротам госпиталя.

Во дворе сутились санитарки и доктора, приглашая больных в палаты: время было к обеду. Накрапывал очередной осенний дождь; кровоточила рана; болела душа.

Глава четвёртая

Арестантов гнали на пристань для погрузки леса. Иван Наумович Хурсанов шёл в колонне за Титом Гулевичем. Петря брёл где-то позади в последней шеренге. Уездный городок только-только просыпался; вдоль дороги то тут, то там дремали извозчики вместе со своими лошадьми, сонные гимназисты спешили на учёбу; дворники заканчивали утреннюю уборку территорий; тонкие, жидкие столбики дыма из печных труб разносили по окрестностям ароматные запахи завтраков попеременно с гарью берёзовых дров.

– Эх, ломоть бы хлеба ржаного из печки, горячего! – мечтательно произнёс Иван Наумович. – Хотя и от целого каравайя не отказался бы, прямо из пода с пылу с жару. Ножом резать нельзя: горячий, лезвие будет увязать в мякоти. И ты его руками ломаешь, а он пахнет-е-ет! Жизнь пахнет, во как.

– На пристани будут кренделя давать и булки с маслом и с маком. Всё в сахаре, а к пряникам подадут ковшик мёда. Само собой – выкатят бочку пива и по штофу водки на брата. Ты, мужик, зря аппетит не порти и не наедайся заранее ржаным хлебом, – съязвил напарник слева. – А то брюхо пучить станет и манна небесная не влезет в твою утробу: места не хватит.

Хурсанов не ответил, лишь кинул презрительный взгляд на соседа. Он пожалел, что нечаянно высказал свои чаяния-желания, приоткрыл чуточку душу. Срок, проведённый в тюрьме, уже научил его быть сдержанным в собственных чувствах, словах и действиях. Иногда самые светлые порывы души могут сыграть совершенно не ту роль, напротив, противоположную, на что и не рассчитывал вдруг позволивший расслабиться арестант. Тюремная камера жестока, она не позволяет расслаблений, мягкотелости и жалости своих обитателей.

Десять лет каторги получил Иван Наумович неделю назад. Его судили позже Гулевича и Петри. Уездный землемер так и не смог оправиться – встать на ноги после ударов цепом. Отнялись руки-ноги, приковало к постели.

Узнав от следователя, что землемер останется калекой на всю жизнь, в душе Хурсанова разыгралась мстительная струнка: так ему и надо! Однако, злорадство быстренько сменилось на непонимание: за что такой большой срок? Ведь Иван Наумович не по доброй воле или злему умыслу напал на совершенно безвинного человека. Именно землемер вынудил его пойти на этот крайний шаг. Другого пути установлению и торжеству справедливости для крестьянина не было. Это был его вынужденный поступок, шаг отчаяния. Однако убедить судью так и не смог.

– Не обучен говорить грамотно, вот и... – обречённо произнёс в день оглашения приговора осуждённый Хурсанов своим друзьям-сокамерникам.

Тит чуть раньше получил пятнадцать годочков за убийство Ваньки Бугаёва, а Петря – за поджог овинов и иных хозяйских построек пана Прибыльского Алексея Христофоровича – двенадцать лет.

Как-то само собой сложилось, что эта троица держалась всё время вместе. Как с первых дней сблизилась, так и до сих пор. Вот и сейчас их камеру направили на разгрузку леса. Петря мог бы отказаться, остаться. Однако пошёл с товарищами за компанию. Скучно. А тут какое-никакое, а развлечение, смена обстановки. Напросился. Тюремное начальство не возражало.

– Правильно! Неча похлёбку казённую задаром хлебать, – заметил старший надзиратель, который выбирал арестантов для работы. – Труд... он это... дурь из башки вышибает всем: и хромым, и кривым, и горбатым.

На суде Тит так и не смог доказать, что не хотел убивать Ваньку Бугаева. Тем более, его там и не слушали. Судья зачитал всё то, что написал молодой прыщавый следователь, и пятнадцать годочков каторги обеспечены. Парень уже начинал свыкаться, привыкать к такому страшному и долгому сроку, ежедневно помногу раз убеждая себя, твердил как молитву

«от сумы и от тюрьмы»... Понимал, что изменить уже что-либо не сможет. Что ж, вернётся в деревню в сорок с лишним лет, если выживет на каторге.

Правда, доброжелатели подсказывали, советовали нанять хорошего защитника, тогда ещё может быть и уменьшится срок. Только вот кто и как нанимать станет его, если мама не смогла даже приехать на суд, а Аннушка лишь успела крикнуть в коридоре суда, что ждать будет. Ну, хоть что-то обнадеживало. Хотя, зачем молодой, красивой девушке оставаться вековой ради какого-то убийцы? Что, мало вокруг парней? Пусть бы выходила замуж, Тит обижаться и злиться не станет. Однако не ответил и в тот раз, смолчал.

Первое время после оглашения приговора Петря выходил из себя, нервничал, чуть ли не со слезами на глазах доказывал сокамерникам чудовищную несправедливость, грозился перевернуть вверх дном не только уездный суд, но и всю судебную систему России.

– В морду дал Прибыльскому, это факт. Не отрицаю. Но не поджигал! Не-под-жи-гал я этих чёртовых овинов!

– Знаешь, я тебе верю, – успокаивал Иван Наумович. – Верю. Однако чует моё сердце, что за другие грехи наказал тебя Господь. Вспомни, паря, кому зла желал, кого обидел? Неужель ангелом порхал над землёй? Слова худого не сказал? О тебе только и говорила вся округа. Твоё имя сразу после царского имени повторялось, если не чаще, а ты говоришь: «Не виноват...». Признайся, как на духу.

– Ну-у, ты не поп и я не на исповеди, и здесь не аналой. На себя посмотри, – зло ответил Петря. – Праведник нашёлся.

Сейчас троица ожидала отправки на каторгу: собирали команду, чтобы, значит, заодно всех сразу. Ждали, пока остальных арестантов осудят, определяют степень вины и меру наказания, сформируют команду для этапа. А сегодня отправили на погрузку леса.

Пошли пакгаузы, склады, всё чаще стали попадаться гружёные роспуски телег со строевым лесом; обозы с полными коробами речного песка; возы с дровами, зерном. Возницы всякий раз останавливались, провожали арестантский строй долгим взглядом, а то и крестились сами, осеняли крестным знаменем спины арестантов.

– Спаси и помилуй, Царица Небесная, спаси и помилуй, Богородица. Ни дай Боже, ни дай Боже...

Насупившись, охранники шли по бокам колонны, строго следили, чтобы ни конвоируемые, ни встречные пешеходы не вступали в разговоры, не общались и не передавали друг другу никаких вещей. Старший конвоя – седой, полный урядник верхом на коне то и дело оглашал улицу командирским басом из седла:

– По-о-осторони-и-ись! Не положено!

Тит шёл, не поднимая глаз: стыдно. Хотя и всячески успокаивал себя, стараясь привыкнуть к мысли, что отныне он каторжанин, однако, что-то внутри, в душе никак не вязалось с его теперешним положением, противилось. Потому и старался не смотреть, не встречаться взглядами с прохожими. Ему всё казалось, что его все знают и начнут тыкать пальцем: «Арестант! Каторжанин!». Этими словами с детства пугали детей. Кто же думал, что они, эти слова, обретут плоть, превратятся из разряда угроз в явь, станут страшной действительностью.

Петр Сергеевич Труханов чуть приотстал от колонны, и поэтому рядом с ним постоянно шёл один из конвоиров – молодой полицейский с еле заметным пушком над верхней губой.

– Шевелись, шевелись, арестантское отродье! – шумел на арестанта конвоир, строго и страшно хмурил брови, старался говорить командирским басом.

– Не видишь, служивый, что хромаю. Нога у меня...

– Как паскудничать, так хворь не мешает. Небось, на воровстве иль другом разбойном деле ногу повредил, а сейчас жалости требуешь да сочувствия.

Пётр Сергеевич побледнел вдруг весь, руки затряслись.

– Ты, служивый, иди тихонько и меня не трожь, – процедил сквозь зубы. – Не то за себя не отвечаю.

– Но-но, каторжанин! Прекратить разговоры! Двигай, двигай, бандитское отребье! Неизвестно, чем бы закончилась перепалка, не покажись водная гладь Днепра.

Река в этом месте изгибалась, уходила влево, успев подмыть на повороте низкий берег, образовав длинную, широкую, тихую и достаточно глубокую заводь. Люди не преминули воспользоваться речным трудом, укрепив берег, построили пристань.

Чуть в отдалении вверх по течению у речного вокзала стоял пассажирский пароход, дымил единственной трубой; сновали по причалу пассажиры; слышны были крики извозчиков.

У кучи мусора справа от дороги копошилась, орала стая ворон; какой-то мужик стоял у обочины, сняв шапку, молча провожал глазами колонну арестантов, крестился.

На грузовом причале также кипела жизнь. Слышны были крики мастеров, обильно направленные матюгами; пахло водорослями и свежим лесом; сновали над рекой чайки, кричали истошно и противно. У берега болтались несколько лодок разных размеров. Около десятка таких же судёнышек лежало на берегу вверх дном; у дальнего края порта, где густые кусты ивы и лозы густо свисали над рекой, постепенно теснился стеной лес. Там, у кустов, горели костры, топилась смола, группка чумазных работников смолили борта и днища лодок.

Часть заключённых была направлена на погрузку строевого леса в телеги-ропуски, что караваном выстроились ещё на подходе к грузовому порту, остальные, в том числе Тит и Иван Наумович должны были стаскивать разбросанные и лежащие навалом лесины в строго отведённое место подальше от берега, складывать в аккуратные штабеля. Петра Сергеевича определили старшим над небольшой группой пожилых арестантов собирать по территории дровяного склада крупную щепу, сучья, пилить тонкие, кривые некондиционные брёвнышки на дрова, колоть их, складывать отдельно в поленицы. Для этой цели в углу двора стояло несколько козел для распила, колоды; выдали колуны, топоры и пилы.

Солнце уже давно взошло, нежарко светило, однако ещё грело, работа шла ни шатко, ни валко. Конвоиры переместились в тенёк, и уже оттуда сонно наблюдали за подопечными, изредка покрякивая на арестантов.

На перекурах Пётр Сергеевич не оставался со своей группой стариков, а шёл к Титу и Ивану Наумовичу. Вместе садились на брёвна у кромки берега, смотрели на бегущую воду, молчали, а то и переводили взгляды на ту сторону реки, тяжело вздыхали.

Вот и на этот перекур они собрались вместе, стояли у берега, о чём-то оживлённо говорили, размахивая руками. И вдруг Труханов схватил за грудки Тита Гулевича, а потом и с силой ударил в лицо. Тит отлетел назад, схватился за разбитый нос, вытер ладонью кровь. С мгновение смотрел на окровавленную руку, и тут же кинулся на обидчика. Какое-то время они возились, сцепившись, всё ближе и ближе смещаясь к воде, каждый норовил сбросить противника в Днепр.

Когда на дерущихся арестантов обратили внимание охранники, Тит с Петрей уже были у кромки причала, а потом оба рухнули в воду, не отпуская друг друга.

– Уто-о-опли! – заорал Иван Наумович Хурсанов, и, не раздумывая, бросился в реку вслед за товарищами.

Работа мгновенно прекратилась, все кинулись к Днепру. Спohватившись, конвоиры принялись нервно сгонять в угол склада арестантов, строить в шеренги, в спешке учинили переключку. Старший команды – грузный пожилой урядник бегал по берегу причала, хватал за руки столпившихся у воды возниц, просил и требовал брать багры, жерди, искать пропавших.

– Братцы! Помогите! Спасайте утопших! Пива, водки – залью! Моё начальство голову оторвёт, истинный крест! А у меня детки, и сам я... два годочка осталось прослужить до отставки, братцы!

– А мне это надо? Мне за это деньгу не платят, – угрюмо ответил за всех высокий рыжий возница. – Тут их столько утопает, что только успевай поворачиваться да лоб осенять.

– Табе надо, вот и ныряй в эту студень, спасай свою голову, – поддержал товарища кто-то из толпы.

– Ага, вода сейчас самая для купания. Ильин день прошёл когда ещё. А сейчас, дай Бог памяти, нет, завтрава – Воздвижение Креста Господня, а ты нас в воду. Не-е-ет, барин! Ты уж без нас как-нибудь. Небось, от холода уже давно тела несчастных свело, сердчишки остановились, водицы нахлебавшись. Вода-то сты-ы-лая, не то, что...

Нехотя несколько человек всё же ходили вдоль берега, тыкали жердями в воду.

– Утопли. Искать надо вниз по течению, – авторитетно заявил один из мастеров, перекрестившись, и тут же безнадежно махнув рукой. – Конец пришёл бедолагам: так долго под водой ещё никто не сидел. Чай, не рыба, а люди. Ты не гляди, что Днепр – река вроде как без норова, тихая, только никто не считал, сколько у ней омутов. Во-о-он, – ткнул рукой куда-то вниз по течению, – барашками волна идёт, вишь? Там так крутит, что лодку могёт засосать, и не выгребешь, а ты говоришь... И здесь у берега две сажени с гаком глубина будет. Мало не покажется. Вот оно как... Днепр шуток с собой не любит. Гордая река, это что б ты знал, господин урядник.

– На корм сомам да ракам пошли страдальцы. Эта живность ноне так разъелась утопленниками, что сейчас не каждого жрать станет: брезгует. Им уже бар подавай, господ – чистых телом да жирных, откормленных, а не арестантов вшивых да тощих, прости господи.

– Но – трое? Как могли сразу втроем утопнуть? – хлопал по ляжкам урядник.

– Двое драку учинили, которые помоложе, оба так и свалились в реку, друг дружку не выпуская из рук. А третий, что вроде батьки при них был – постарше который, спасать их кинулся, да и сам того... этого... – перекрестился небольшого росточка мужик, тяжело вздохнув. – Хотел, видно, бедолага, как лучше, так, вишь, как оно-то случается. Утащили в бездну чистую душу, варнаки бесовские.

– Оно, лучше утопнуть, чем на каторге издохнуть, – заметил опять рыжий возница. – Хотя, кто знает? Пойди, спроси. И каторга – не мёд, и Днепр – не мамкина колыбелька.

– Знать, судьба, – глубокомысленно изрёк мастер. – У Семёновой излучины за коряги зацепит точно, к попу не ходи. Так уже не раз бывало, если кто утонуть решал у нашего берега, – ещё раз кинул взгляд на реку, вобрав голову в плечи, направился к штабелям дров. – Через неделю-другую узнаем, – кинул на ходу.

Следом за ним потянулись и остальные зеваки.

Арестантов в спешке погнали в тюрьму, даже не накормив обедом.

К висевшему на костре казану, в котором булькало варево для них, подходили возницы, другой работный люд: не пропадать же добру, хоть и добро это – баланда тюремная.

Когда заколотили шкворнем в било, сзывая к обеду, на берегу уже никого не было. Лишь мальчонка-беспризорник докуривал уроненную кем-то из взрослых папиросу, смачно сплёвывая в тёмную, грязную воду у грузового причала, норovia попасть плевком в кучу мусора, что проплывала мимо, не забывая то и дело вытирать лоснящимся, грязным рукавом нос. Докурив до конца, щелчком забросил окурочок далеко в реку, побрёл к казану с надеждой, что и ему перепадёт горячей похлёбки.

Вверх прошлёпал плицами пассажирский пароход, оглашая окрестности скрипучим свистом.

Бригада рабочих, что конопатили и смолили лодки, тоже ушла на дровяной склад, живо обсуждая трагедию, которая случилась прямо на их глазах.

За лежащим на боку судёнышком-дощаником, что догнивало свой век за кустами ивняка, лозы и шиповника рядом с такими же гнилыми челноками, душегубками да плоскодонками, сидел Иван Наумович Хурсанов. Через его колено грудью повис Пётр Сергеевич Труханов,

из которого вытекали остатки днепровской воды. Рядом лежал Тит, отдыхал: тоже нахвтался воды, что еле-еле выбрался на берег. Знобило. Это ему пришлось несколько раз нырять, разыскивая в мутной воде тело товарища, а потом плыть с ним, спрятавшись за притопленное корявое, сучковатое бревно берёзы. Если бы не Иван Наумович, точно ушли бы на дно с Петром: успел дядька вовремя, помог товарищам. Мало того, что помогал в воде, так и на берегу без него не обойтись.

– Живой хоть? – шёпотом спросил Тит.

– Глазами лупает, сипит да дышит, значит, жить будет, – так же тихо ответил Хурсанов. – Вроде вода отошла. Вишь, пальцами царапать начал: ожил, значит.

– Давай в лес. Неча на виду у всей бражки торчать, – потребовал Гулевич. – Еще обнаружит кто, не дай Бог. В лесу в чувство приводить станем. Должен оклематься.

Мужчины поднялись, и уже через минуту, пригнувшись, вдвоём поволокли товарища вглубь леса.

Спрятались в густом молодом ельнике.

Пётр Сергеевич пришёл в чувства, сейчас сидел на усыпанной иголками подстилке, с недоумением взирал на Ивана Наумовича.

– Ты как здесь оказался? Тебя здесь не должно быть!

– Ты лучше спроси, Петя, как ты здесь оказался, а не утоп. Если бы не дядька Иван, то ещё неведомо, что с нами было бы, – вставил слово Тит. – Я-то еле-еле нашёл тебя в воде, а уж держать тело твоё над водой и прятаться – сил не было. Чуть сам не пошёл ко дну. Так что, Пётр Сергеевич, ты на человека не бранись. Нам с тобой ему в пояс впору поклониться, а не то что...

– А я что? Я – как все. Дык это... – разводил руками Хурсанов. – Дык... вы же с Титом вроде как утопнуть собрались. Вот я и кинулся... это... спасать, вот. Свои, чай. Как не спасти своего брата-каторжанина? Хоть и на каторгу скоро погнать должны, а жить-то лучше, чем утопнуть. Вот я и подумал, что вы решили погибнуть, чем на каторгу... Мол, слабые в коленках вы оказались, вот что я подумал. Последнее время всё шептались да шептались. Меня... это... в сторонку отодвинули. Дошептались, значит. Концы в воду решили.

– Да не собирались мы тонуть, – подал голос Тит. – Мы понарошку утопли, чтобы сбежать.

Мужчина недоумённо переводил взгляд с одного на другого, пытаясь вникнуть в суть происходящего. Наконец, до него дошло.

– Та-а-ак, значит, за моей спиной... – обиженно произнёс Иван Назарович, встал, огляделся вокруг, зло сплюнул. – Вон оно как. Друзья-товарищи называются. А я-то за ними в воду?! Эх, не ко двору, значит? Ну, что ж... сам чуть не утоп, дураков спасая.

– Ладно-ладно, будет тебе, – успокоил Труханов. – Потом всё расскажем. А сейчас надо найти экипаж: здесь на просеке стоять должен, нас дожидаться. Только меня маленько мутит ещё, трудно мне идти. Надо кому-то из вас сходить за ним. Пусть подъедет поближе за огороды к опушке леса. А там уж и мы...

– Выходит, вы давно готовились к этому? – снова удивился Иван Наумович. – А мне ни слова, ни полслова.

– А ты как думал? Это мы с виду дурачки да недотёпы. Однако всё получилось так, как получилось. К делу! – Петр Сергеевич произнёс последние слова, как отдал команду. – Пойдешь, господин хороший, подгонишь возок. Это будет твой вступительный взнос. Только полиции не попадись на глаза. Да, возок должен стоять на просеке саженях в ста от дровяного склада вглубь леса.

... Сначала переоделись из свёртка, что лежал внутри телеги. Ивану не хватило сменить своё рваньё, Пётр Сергеевич заставил возницу поменяться одеждой с Хурсановым, включая и шапку с низкой тульей и лопнувшем козырьком. Кучеру подобрали из своих свиток, кое-как приодели.

– Не голый, и ладно, – успокоил Труханов. – Не обижайся, потом рассчитаемся.

– Так это... вши пешком ходют, – брезгливо двумя пальцами мужчина держал на отлёте одежду арестантов. – Посмотри, кормилец. Как же эту гадость к телу-то? Они же прямо копошатся, как незнамо кто. Ещё затопчут православную душу. Как же я смогу на себя напялить эту рванину вшивую?

– Вот так и сможешь, – строго произнёс Пётр. – Рубль ещё в придачу. Это чтобы ты со вшами мировую выпил.

– Ну-у, коли так, – возница зашёл за куст, долго вытряхивал одежду, стал одеваться. – Так бы сразу и сказал. А то всё вокруг да около, – бубнил незлобиво.

Долго ехали по просеке, пока она не вывела из леса, пошла полевая дорога. Клетки убранных голых полей тянулись куда-то к горизонту. Однако через какое-то время свернули к Днепру и снова ехали долго вдоль него.

Кучер так и не проронил ни слова за всю поездку, сидел на козлах, молчал, вобрав голову в плечи. Видно, привык не спрашивать клиентов, не лезть к ним в души. Молчали и пассажиры. А что было говорить? Ещё не отошли от побега, ещё не привыкли к новой роли свободных людей. Прекрасно понимали, что дорога в родные дома заказана навечно. Отныне начинается отсчёт совершенно новой, доселе неведомой и чужой жизни. Вернуться в облики Тита Ивановича Гулевича, Петра Сергеевича Труханова и Ивана Наумовича Хурсанова больше не суждено. Те люди, что жили под такими фамилиями, исчезли. Эти, что сейчас едут в телеге краем Днепра, они – никто. Пока никто. Их нет по определению, хотя они есть, как носители телесной оболочки с прежними именами и фамилиями.

– Ой-ей-ей! – нарушил тишину Иван Наумович. – Это ж... это ж... как же жить дальше? Влип, так влип! И где-то мы находимся, православные? – пытался то и дело приподняться, встать, стараясь лучше разглядеть окрестности, определиться с местом положения.

– Помолчи, дядя! И сядь! – строго потребовал Пётр Сергеевич. – Не ко времени ты стал разговорчивым, – кивнув в сторону всё также молча сидящего кучера. – Доберёмся до места, там всё и обговорим.

За очередным речным поворотом в зарослях камыша их ждала лодка. На вёслах сидел немолодой уже мужчина.

С приезжими поздоровался сдержанно, хотя не преминул спросить:

– Который тут главный?

– А тебе это зачем? – вопросом на вопрос ответил Петр Сергеевич.

– Такая спешка, что грех не поинтересоваться. Что ж я, колода деревянная, али как? Тоже чувства имею, интересы. Прибежали домой, торопят. Мол, срочно, такие люди, такие люди... прикорнуть не успел после обеда. Только глаза смежил, как прискакали... Мол, выручай, переправь. Что за господа? Дай хоть поглядеть.

Лодочник окинул взглядом прибывших, оценил внешний вид, неодобрительно вздохнул, покачал головой:

– Да-а-а-а. Не बारे, а барского пастуха троюродные племянники, – сделал вывод мужчина. – И стоило так спешить? Всякий вонючий клоп божьей тварью мнит себя, прости Господи. Тьфу! И эти туда же. А ты, честный человек, христьянская душа, страдай из-за таких.

– Ты, уважаемый, только за тем прибыл, чтобы на нас посмотреть да себя посмешищем выставить? – не сдержался Пётр. – Так сказал бы заранее, мы бы к тебе прямо в дом завалились. Ты бы шутки шутил, а мы бы животы надрывали.

– Сто лет я вас... это... дома. И без вас... это... – отмахнулся мужик. – Не хватало ещё на ваши морды и в хате смотреть.

– Так в чём дело? – Пётр Сергеевич уже терял терпение.

– Тут это... – лодочник немного замялся, – сулились сурьезные люди хорошо заплатить, если я вас встрену да на тот бок переправлю. Только говорили, что будет двое, а вас целая бражка явилась – три штуки. Значит, и плата должна быть иной – большей.

– Ну, если грозились заплатить, так заплатят. Наши люди серьёзные, – успокоил Труханов. – И за третьего заплатим, не переживай. Только бы твоя душегубка выдержала, кормилец.

– Тебе, барин, в пору за себя бояться, – пробурчал в ответ мужик. – А за лодку мою не бойсь, – похлопал ладонью по борту. – Она и не такое дерьмо перевозила.

– Ох, и язва же ты, мил человек, – не преминул заметить Иван Наумович. – Как только с тобой жёнка живёт?

– Не твоя, потому и живёт, – не остался в долгу лодочник. – Твоя, небось, рада, что тебя черти носят неведомо где. Залезайте в лодку, только осторожно, страдальцы. Не для разговоров мы здесь встретились.

Правда, переправились на тот берег без приключений. Пётр Сергеевич рассчитался с перевозчиком.

– Ну, доволен, жадная твоя душонка?

– Премного, барин, – залезбил мужик, пересчитав деньги. – Благодарствую, кормилец. Если что, так мы завсегда... это... услужить, вот. Только кликните, так я сразу это... ага.

Когда поднялись на крутой берег и отошли немного от реки вглубь леса, Хурсанов пристал к Титу.

– Поясни, мил человек, – дёргал за рукав парня, шипел над ухом. – Живу, как в сказке. Только что был каторжанином, потом чуть не стал утопленником, сейчас быдто в лес за грибами вышагиваю. Откуда у Петра гроши, что смог такие деньжищи за плёвую работу отвалить то вознице, то этому с лодкой? В тюрьме их не давали, это точно. Чудеса, да и только. А, Тит? Скажи, не бреди душу православную. Я бы за такие деньги вплавь Днепр несколько раз переплыл с вами на горбу. А тут лодка. Кто ж так деньгой сорит? Не иначе легко достались Петьке. Вот и...

– Отстань, дядя Ваня. Я и сам ещё всё до конца не понимаю, – отмахивался от надоедавшего товарища Тит. – Вот придём на место, там и узнаем.

А лес становился всё гуще, всё непролазней. Свет не так проникал сквозь густые кроны, да и день клонился к вечеру, и потому приходилось напрягать зрение, чтобы не наткнуться на очередную ветку или сук, идти, постоянно выставив вперёд согнутую в локте руку.

Удивительно, но Труханов вёл товарищей очень уверенно.

Откуда было им знать, что в этих дебрях он частенько отсиживался в крепких, добротных шалашах, которых понастроили на этом берегу по приказу главаря разбойников Петри. И коротал время, прятался от полиции в них не один раз с подельниками после очередного набега на Московский шлях, после лихого налета на барские усадьбы в окрестностях Смоленска. Да мало ли каких дел успел совершить пришедший с фронта инвалид, обозлённый на весь мир разорившийся дворянин без копейки в кармане. Безысходность давила, впереди маячило что-то страшное, тупиковое, доселе неизвестное, неизведанное, и потому оно пугало Петра Сергеевича Труханова как ничто в жизни.

Приняли в свою компанию отъявленные бандиты – разбойники с большой дороги.

Сидел в корчме: на деньги, что были в кармане в тот момент, только и можно было поесть в таком заведении, как корчма, что распахнула свои двери в рабочей слободке уездного городка. Государственное пособие отставному капитану-инвалиду перевёл в приют мадам Мюрель на содержание матери. Все сбережения, какие накопил капитан Труханов, утащили вместе с вещами в поезде, когда Пётр Сергеевич ехал из госпиталя Екатеринбурга на Смоленщину. На минутку вышел в тамбур, вернулся – вещей уже не было. А деньги немалые. Надежда уже маячила. Однако... всё одно к одному. Будто напасть какая на семью Трухановых.

Вот и в тот день еле-еле наскрѣб денег на обед в корчме. Завтра уже не будет за что покушать. Не единожды перебирал в памяти знакомых, к кому можно было бы обратиться если не за финансовой помощью, то уж за рекомендацией по будущей работе.

За соседним столом гуляла подозрительная компания мужиков. Пригласили к себе за стол одинокого человека, налили водки, сунули к носу сковородку с жареными карасями в сметане. Внимательно выслушали жалостливую историю фронтовика-инвалида. Мол, ранен, папка с мамкой померли, хата сгорела. Всё! Ни кола, ни двора – это как раз о нём.

Настоящую биографию не раскрыл, утаив истинное лицо. Зачем и кому это надо? Опять пройтись по болевым точкам души столбового дворянина и офицера? Нет! Он готов прожить и другую жизнь, противоположную той, прежней. Вот и снова в который раз всплыл в памяти образ убитого на Хингане солдата.

Налили ещё. После выпитого переспросили непонятное, ненавязчиво потребовали уточнить кое-что, поверили, сжалились, прослезились над тяжкой судьбой защитника Отечества. Проявили заботу: предложили влиться в их компанию. А ему уже было всё равно: честь попорана давно; здоровье потеряно на войне; остались только обида да злость на весь мир, и на себя в первую очередь. Умом понимал, что не проявил должной выдержки, твёрдости характера, не приложил должных усилий остаться человеком, сохранить дворянскую и офицерскую честь. Оказался слабым не только телом, но и духом, и это тоже понимал как никогда ясно и чётко. А иного выхода из жизненного тупика не видел. Но и осознавал, что путь, избранный им, – тоже тупик. Обратной дороги из него уже нет и не будет. Потому и злился ещё больше, иногда даже зверел.

Обладая незаурядным умом, большим жизненным опытом, хорошими знаниями человеческой психологии, наделённый прекрасными организаторскими способностями, физической силой Пётр Сергеевич недолго ходил в подчинённых. После нескольких удачных налётов, которые разрабатывал и руководил лично отставной капитан российской армии, а ныне новый член шайки, его стали уважать, прислушиваться к мнению, считаться с ним.

Вдруг без видимых причин скончался прежний главарь – Егор Хват, крепкий и бесстрашный, крутой нравом сорокалетний мужик. Все недоумевали: ложились спать вполне здоровым и жизнерадостным, а проснуться так и не смог. Бывает и такое. Слава Богу, отошёл на тот свет без мучений – во сне. Руководство бандой как-то незаметно само собой перешло в руки новому главарю – Петре. Именно под таким именем он и появился впервые перед местными бандитами ещё там, за столом в корчме. Уже через год это имя с дрожью произносили все маломальски богатые и состоятельные люди. Известно оно было и полиции, однако предъявить что-либо серьёзное законным образом не могли отставному капитану. Несколько раз задерживали, и... отпускали! Прямых улик-то и не было!

Возглавив банду, Петр Сергеевич Труханов так разрабатывал операции, так строил планы, что самому лично не было нужды находиться на месте преступления: всё делалось руками подельников. Он, руководитель, оставался в тени, в стороне. И даже если ловили членов шайки, произнесённое кем-то из них слово «Петря» на допросах в полицейских участках становилось пропуском на тот свет. Откуда об этом узнавал сам Петря, им было неизвестно, что ещё больше усиливало его власть над бандитами. О неотвратимости мести со стороны их руководителя очень хорошо знали все подопечные главаря.

Петря прекрасно умел перевоплощаться: где надо – это был испуганный, забитый человечка, который боится собственной тени. В ином случае – волевой и жестокий человек. Этот артистический талант в совокупности с его организаторскими способностями поднимали авторитет Петри в глазах подельников на небывалую высоту. Всё чаще к нему стали обращаться за помощью обыватели: искали справедливости. И он шёл им навстречу, помогал, как мог, восстанавливая справедливость, исходя из своего представления о ней, из возможностей и способностей своих дружков.

Со временем имя «Петря» звучало во всех окрестных сёлах, в уездных городках, не сходило с уст крестьян, мастеровых людишек и мещан. Докатилось оно и до самого губернского города Смоленска. И стало головной болью уездного и губернского начальства.

Когда Труханова обвинили в поджоге овинов в имении Алексея Христофоровича Прибыльского и арестовали, начальник уездной полиции получил звание подполковника. А становой пристав, который лично арестовывал Петрю, был досрочно произведён в штабс-капитаны и награждён денежной премией от уездного дворянского собрания в размере двух сотен рублей.

До ареста Петря в своих бандитских деяниях не был бескорыстен, нет. Везде искал свою выгоду. И копил деньги. У него оставалась мечта: выкупить поместье столбовых дворян Трухановых, вернуть в дом маму и сестру. О ней ни кому не говорил: это была личная тайна. Мечта со временем превратилась в маниакальную навязчивую идею: добыть деньги! Любимым способом – деньги! Много денег! Именно деньги должны помочь претвориться мечте в жизнь. И он не оставался бесплодным мечтателем, а наяву, каждым поступком, каждым шагом, каждым прожитым днём приближал исполнение мечты, в реалиях превращал её в явь. За каждую копейку, за каждый рубль боролся с участью обреченного. Не останавливался ни перед чем, и никого не жалел. Был беспощаден к себе, но и другим спуску не давал. В денежных вопросах был болезненно щепетил: не упустить ни единой копейки! Даже когда соратники требовали по своим законам и обычаям отметить удачно провернутое дельце, их главарь Петря не делал взноса: позволял себе присутствовать на правах гостя. Правда, рассчитывался с подельниками за проделанную работу честно. Альтернативы в таких делах не видел, и потому был вынужден поступать по справедливости. И товарищи ценили по достоинству своего предводителя.

Это только арест Петра Сергеевича немного спутал карты, выбил из привычного ритма. Исполнение мечты приостановилось, отодвинулось на другие сроки, более поздние. Но не исчезли. Ничто и никто не смогут помешать их претворению в жизнь.

Да и он не отчаивался, не терял надежду и с первого дня пребывания в тюремной камере уже знал, что здесь не задержится долго. Что и как оно будет, не представлял. Но твёрдо был уверен, что ни в тюрьме, ни тем более на каторге его никто и ничто не удержит. И ещё немного боялся за свою жизнь. Любил он жизнь, чего уж греха таить. Там, на фронте, он тоже боялся за неё, но не так. Здесь – больше. Там уповал на Бога, сослуживцев и себя. И ещё на оружие, коим владел блестяще. Но в армии всё и все были истинными, без обмана, без тени лукавства, по законам фронтового братства. Мало того, что ты сам оберегался, не бравируя показной смелостью и отвагой, так и твои сослуживцы своими действиями, поступками способствовали сохранению твоей жизни. «Сам погибай, а товарища выручай» – это было смыслом фронтовой жизни, фронтового братства, залогом победы в бою. Была надежда на товарищей, что они не бросят, придут на помощь, спасут, если потребуется. И там не было мечты. Вернее, была: жить! А ради чего – это уж потом, после войны можно будет поискать её, мечту эту. Важно было просто сохранить жизнь. Слава Богу, остался жив. Выбрался живым из той страшной мясорубки.

А здесь – совершенно другое. Здесь впереди была мечта – не дать бесславно угаснуть роду столбовых дворян Трухановых. Вот ради неё-то и стоило жить.

Достаточно хорошо изучив жизнь руководимой им банды изнутри, понимал, что законы преступного мира жестоки. От него можно ждать в равной степени как безоговорочной, бескорыстной поддержки, так и удара в спину. Поэтому сразу же в камере не влился в компанию «блатных», а сблизился с двумя ничем не примечательными сидельцами. Это потом уже с удивлением узнал, что один из них – Тит, родной брат однополчанина, командира взвода пулемётной роты Гулевича Фёдора Ивановича. Земля, оказывается, очень маленькая. Впрочем, чему удивляться? Основную массу защитников Руси всегда составляли крестьяне. Вот и японская кампания не стала исключением.

И они сдружились. То ли возраст один? То ли беда объединила их? То ли их сблизил, подружил Иван Фёдорович Гулевич – прекрасный офицер и надёжный фронтовой товарищ для одного, и родной брат для другого? Однако, как бы то ни было, но столбовой дворянин и офицер царской армии сдружился с простолюдином – обычным крестьянским парнем.

В одну из ночей поведал другу о своей заветной мечте возродить род Трухановых, вернуть родовое поместье, объединить семью.

– Деньги, деньги мне нужны, вот и... Как ещё прикажешь их заработать, деньги эти по нынешним временам?

Тогда же узнал и мечту нескольких поколений семьи Гулевичей о собственной мельнице, и как её, мечту эту, порушили злые люди. Тит не рассказал сразу, что знает, кто это сделал. Просто изложил в подробностях, и замолчал. Молча лежал у стены и ждал, что скажет Пётр Сергеевич Труханов – тот самый Петря, который встал непреодолимой преградой на пути Гулевичей к мечте.

– Так значит... это ты овины Прибыльского? – осенила вдруг догадка, резко повернулся, приблизился к другу, задышал прерывисто.

– Ты, да? Твоя работа, скажи честно?

– А это не ты со своими разбойниками – вольными людьми у нас на мельнице нашу мечту поджигал да по брёвнышку раскатывал по просьбе известного тебе барина? – зло зашипел в ответ Тит. – Матерился, бежал потом к карете, хромая. Я же видел, гражданин хороший. Иль крики мои не помнишь уже, память отшибло, как орал я в ночи, чтобы мою мечту не рушил, не сжигал? Благодетель, твою мать, – заматерился от возмущения. – О своей мечте он помнит, а моя тогда как? Каким боком моя мечта к твоей мечте прислонилась, страдалец, что ты её так, а? Не думал тогда, что кому-то делаешь плохо? Не понимал, что зарабатывал деньги на несчастье других людей? Что и им бывает больно и обидно?

Разговор на этом оборвался. Спустя какое-то время Петр Сергеевич нашёл в темноте руку Тита, крепко, с чувством пожал, прошептал виновато над ухом:

– Должник я твой, ты уж меня прости.

Потом полежал ещё с мгновение, добавил:

– Ваш должник, всей вашей семьи. Значит, отныне к моей мечте присоединилась и твоя. Я тебе обещаю, что исполню, клянусь!

– Давай спать, – только и ответил Тит. – Бог... он воздал уже и воздаст ещё по заслугам каждому.

Больше к этой теме не возвращались: так и коротали дни в тюремной камере, зная друг о друге почти всё. Нет, не стало от этого лучше, но от души всё же отлегло. Как грех с неё сняли, как исповедовались друг другу.

Однако этот ночной разговор не поссорил товарищей, а, казалось, ещё больше, ещё теснее сблизил. По крайней мере, Пётр чувствовал в молодом Гулевиче внутренний стержень: крепкий, нестигаемый, крепче, чем у него самого. Как у его брата Фёдора там, на фронте. Было видно, что Тита не сломили обстоятельства, тюрьма, последующая за ней каторга. Он сохранил себя, не паниковал. Может где-то глубоко-глубоко в душе и бушевали нешуточные страсти, однако внешне парень оставался спокойным, надёжным товарищем, рассудительным, уравновешенным. От него исходила какая-то атмосфера добра, нестигаемая сила воли. Он не обозлился на белый свет. Злился на себя, искал причины в себе, и находил силы противостоять судьбе. Это притягивало Петра Сергеевича интуитивно, на подсознательном уровне. Ему Тит нравился, как сильный, волевой человек. Известно, что слабого человека всегда тянет к сильному. Хотя себя Пётр не считал слабым.

Там же, в камере, в первую ночь после суда, когда Труханова Петра Сергеевича осудили на двенадцать лет каторги, а Тит Гулевич уже до этого получил пятнадцать, они и решили бежать. Как оно там будет на каторге – ещё не известно. Да и куда сошлют – тоже не ведомо.

Вроде как сдружились, а вдруг разлучат? И даже не это страшило: оба не терпели неволи. Не могли смириться с мыслью, что такую огромную часть жизни придётся жить в неволе. Это противоречило их вольнолюбивым натурам. Вот и стали разрабатывать план побега.

Здесь заключённых водили на работы. Попасть в эту команду – не проблема. Предложил Петря. Тит согласился. Отправили на погрузку леса. Решение бежать именно сегодня с пристани приняли во время первого перекура. Обстановка благоволила: или сейчас, или... Ивана Наумовича в известность не ставили. Хороший он мужик, однако...

Утром тайком шепнул на ухо знакомому возчику леса. Тот тут же выпряг коняшку из роспуска, ускакал верхом. Обернулся быстро. За ним сразу же появился в коляске с извозчиком, тоже своим человеком, один из подельников, член банды Петры, который сейчас оставался за главаря – Яков Шипицын по кличке Спица. Он организовал и с кучером, с деньгами, и с одеждой. Молодец, даже успел и с лодкой. Ну-у, а дальше...

И вот уже Петр Сергеевич ведёт своих товарищей сквозь чащу, ведёт туда, где его должны ждать.

Это только его спутникам этот лес кажется непроходимым, а уж он, Петря, хаживал по нему и не раз. Ещё осталось пройти с сотню-другую метров, и будет журчащий ручеёк с кристальной водой поперёк пути, что бежит параллельно реке. Это – как постоянный ориентир. Обойти стороной его нельзя. А уж потом продвинуться ещё немного вверх по течению, и откроется небольшая полянка среди чащи. Там, в углу полянки, между двумя старыми дубами, где ручей круто поворачивает от Днепра, стоит избушка: новое имение столбового дворянина Труханова Петра Сергеевича, как в шутку называл это жилище Петря. Он здесь отсиживался, переживал тяжёлые времена в своей разбойничьей жизни. Это были его личные хоромы. Для подчинённых достаточно было шалашей в другом месте.

Об этом домике в глухом лесу на берегу Днепра знали четыре человека. В живых осталось двое, Петр Сергеевич в числе живущих. Тех двоих мужиков, что непосредственно строили избушку, уже нет с прошлой весны: пьяные, утонули в реке во время ледохода. Он сам лично был свидетелем, как пытались перейти на тот берег строители; как прыгали с льдины на льдину; как уходили под воду один за другим...

Жив ли ещё один свидетель и обитатель этого домика? Пётр Сергеевич торопился, с волнением подходил к избушке.

В прошлом году открывали церковь Святого Духа в деревне Талашкино, что недалеко от Смоленска. Мама слёзно просила сына съездить туда, низко поклониться и поблагодарить одну женщину – княгиню Тенишеву. Когда-то дружили домами столбовые дворяне Трухановы и княгиня Тенишева. Это она, Мария Клавдиевна, построила храм в родовом имении, пригласила для строительства и росписи церкви знаменитых архитекторов и художников. Она же и жертвовала средства на содержание приюта мадам Мюрель. Уж очень признательны и благодарны обитатели приюта своей благодетельнице.

Пётр Сергеевич съездил, сделал всё, как и просила мама. Переночевал там же, в имении Тенишевых в гостевом доме. Зашёл и в церковь, побыл на заутренней службе. Уже выходил из храма, когда вдруг на паперти дорогу ему преградила нищенка. Стояла и молчала, лишь выжидающе смотрела снизу вверх на Труханова.

Что-то знакомое, до боли родное было в том взгляде. Но вот так сразу нельзя было разглядеть, не смог узнать. Да и как можно было узнать сквозь лохмотья, что свисали с нищенки? И лицо – грязное, в кровоподтёках. Только глаза, только взгляд...

– Петю-у-уня-а! – это было как гром среди ясного неба.

Этот голос он не смог бы спутать ни с чьим другим.

Его, этот голос, он слышал с первых минут своей жизни, с первых осмысленных звуков в его детской головке. Это ласковое певуче-протяжное:

– Петю-у-уня-а! – сопровождало его всю жизнь.

И даже на японской войне, когда его ранило в первый раз, когда он терял сознание, когда балансировал на грани жизни и смерти из уст сорвались самые родные, самые милые сердцу и душе слова:

– Ма-а-ама, ма-а-аменька Дуся.

– Маменька Дуся? – опешил Пётр Сергеевич, и в тот же миг обнял, прижал к себе, целовал грязное, но такое родное лицо своей кормилицы и няньки.

Они родили в один день: барыня Ирина Аркадьевна и деревенская девка при кухне Евдокия Гурьянова. Роды у барыни принимал дежуривший при ней доктор Давид Исаакович Голдин.

У Евдокии никто не принимал. Она понесла в девках. От кого? Слухи ходили разные: осторожно, шепотом и тайком называлось имя барина Сергея Сергеевича. Так оно или нет – девка не рассказывала никому об отце ребёнка. И рожала сама, одна. Даже не пригласила к себе бабу-повитуху в помощь. Не смогла, слишком быстро всё началось. Укрылась, спряталась на печи в собственной сиротской, оставшейся от умерших родителей развалюхе-избушке. Сил не было истопить печку. Вот там, в холодной, стылой и промёрзлой избе на печи появился мальчик. Когда, почувствовав неладное, в хату забежала соседка баба Егориха, молодая мама лежала без сознания, и ребёнок уже не подавал признаков жизни. Еле-еле смогла старушка откачать, привести в чувство роженицу. А вот мальчика спасти не удалось.

Кормилицей для маленького барчука была выбрана Дуся. Это потом уже Пётр Сергеевич Труханов поймёт, что всю свою нерастраченную любовь женщины-матери деревенская девка выплеснула на него, Петю. Он, барчук, для неё был всем: и сыном, и братом, и другом, и последней отрадой в жизни. Светом в окошке. Ребёнок тоже прикипел душой к кормилице. И даже очень удивился и расстроился, когда начал понимать, что мама у него одна – Ирина Аркадьевна, а маменька Дуся – совершенно чужая женщина.

Евдокия так и не вышла замуж. Никого не винила, и даже видом своим не показывала, что страдает от этого. Она понимала, что замуж её, сироту, без приданного, девку порченную, никто не возьмёт. Вот и держалась барского дома, маленького барчука.

И он тоже привязался к кормилице и няньке, как к родной матери, и называл её не иначе, как маменька Дуся. Родители долго наблюдали за сыном и кормилицей, и первое время были склонны разлучить их. Но потом всё же приняли мудрое решение: оставили как есть. И сейчас, спустя столько лет, Пётр Сергеевич Труханов безумно благодарен родителям и судьбе, что в его жизни были и есть две прекрасные женщины – мама и маменька Дуся.

– Петю-у-уня-а! – и не было другого имени у барчука.

Отъезд в военное училище своего любимца женщина перенесла стоически. Каждую неделю писала ему письма, благо, обучилась грамоте при барском доме. А уж когда Пётра Сергеевича отправили на фронт, каждый день маменька Дуся ходила в церковь. Ставила свечку и заказывала молитву за здоровье барчука. Может, благодаря её молитвам и остался жив капитан Труханов? Кто его знает, но без молитв маменьки Дуси точно не обошлось.

А потом... потом Трухановы разорились, и женщина пошла по миру, превратилась в побирушку. Несколько раз Ирина Аркадьевна пыталась разыскать её, но безуспешно. Да она и сама избегала бывшей барыни, не хотела быть лишней обузой, не желала создавать лишних трудностей ей. И вот встреча у храма Святого Духа в Талашкино... Воистину, Господь Бог уподобил встретиться, помог...

Они ушли тогда вместе: бывший барчук и нынешняя нищенка.

К тому времени в лесу уже заканчивали строительство избушки. Пётр Сергеевич предложил маменьке Дусе поселиться в ней.

– Это ненадолго. Ещё немного, я утрясу все свои дела, и мы опять будем в нашем родном поместье.

– При тебе, Петюня, я готова жить хоть в аду, – и с благодарностью прижалась к любимцу.

Она не спрашивала, почему её отрада живёт в лесу. Да и вообще она не интересовалась его делами. Довольствовалась тем, что он считал нужным сам лично рассказать. И не уточняла ничего. Ей было важно, что он рядом с ней, она может его видеть, слушать голос, кормить обедами, хотя и не так часто Петя появлялся здесь. Однако она всегда готовила для него его любимый картофельный суп с грибами. Готовила в маленьком глиняном горшочке на раз поесть. Но готовила. Чаще всего сама же и съедала его поздним вечером, а утром опять приступала готовить картофельный суп с грибами. А вдруг её родной Петюня придёт, а поесть нечего? Вот и готовила.

Женщина не знает, что его арестовали. Она так и осталась в неведении. У него была возможность через подельников сообщить маменьке, рассказать ей, но он не сделал этого специально: о домике в лесу никто не должен знать. Да, мучила совесть, терзался мыслями, но так и не послал никого. Известно, что самые сильные боли, самые сильные мучения причиняются самыми близкими людьми самым близким людям. Случай Петра Сергеевича с маменькой Дусей не был исключением. Почему так? Он не знает, да и не хочет разбираться, лишний раз терзать собственную душу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.